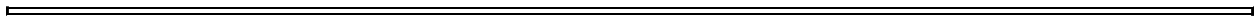


- [Герберт Уэллс](#)
  - [1. Знакомство с мистером Люишем](#)
  - [2. «Когда подует ветер»](#)
  - [3. Чудесное открытие](#)
  - [4. Удивленно поднятые брови](#)
  - [5. Нерешительность](#)
  - [6. Скандальная прогулка](#)
  - [7. Расплата](#)
  - [8. Карьера торжествует](#)
  - [9. Элис Хейдингер](#)
  - [10. В галерее старинного литья](#)
  - [11. Спиритический сеанс](#)
  - [12. Люишем ведет себя странно](#)
  - [13. Люишем настаивает](#)
  - [14. Точка зрения мистера Лэгьюна](#)
  - [15. Любовь на улицах](#)
  - [16. Тайные мысли мисс Хейдингер](#)
  - [17. В рафаэлевской галерее](#)
  - [18. «Друзья прогресса» встречаются](#)
  - [19. Люишем принимает решение](#)
  - [20. Движение вперед приостановлено](#)
  - [21. Дома!](#)
  - [22. Свадебная песнь](#)
  - [23. Мистер Чеффери у себя дома](#)
  - [24. Подготовка кампании](#)
  - [25. Первая битва](#)
  - [26. Блеск тускнеет](#)
  - [27. Рассказ о ссоре](#)
  - [28. Появление роз](#)
  - [29. Шипы и розы](#)
  - [30. Уход](#)
  - [31. В парке Баттерси](#)
  - [32. Окончательная победа](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)



**Герберт Уэллс**

**ЛЮБОВЬ И МИСТЕР ЛЮИШЕМ**

## 1. Знакомство с мистером Люишем

В первой главе ничего не говорится о Любви — эта участница событий появляется лишь в главе третьей, — а пока мы застаем мистера Люишема за работой. Речь пойдет о событиях десятилетней давности, и в те годы он был младшим учителем в частной школе в городке Хортли графства Суссекс; жалование его составляло сорок фунтов в год, из коих он должен был в течение учебного года платить пятнадцать шиллингов в неделю владелице маленькой лавки на Вест-стрит миссис Манди, у которой жил и столовался. «Мистером» его звали для отличия от великовозрастных мальчишек, пока еще обязанных учиться, а от них строго-настрого требовалось, чтобы, обращаясь к нему, они величали его «сэр».

Он носил костюм из магазина готового платья; борта и рукава его черного, строгого покроя сюртука были припорошены мелом, лицо покрыто первым пушком, а на губе определенно намечались усы. Это был приятный на вид юноша, восемнадцати лет, светловолосый, довольно плохо подстриженный, в очках на крупном носу — очки ему были совершенно не нужны, — он носил их ради поддержания дисциплины, чтобы казаться старше. В тот самый момент, когда начинается наше повествование, он находился у себя в комнате. То было чердачное помещение со слуховыми окошками в свинцовых рамах, покатым потолком и вспученными стенами, оклеенными, как свидетельствовали многочисленные надрывы, не одним слоем цветастых старомодных обоев.

Судя по убранству комнаты, мистера Люишема больше занимали мысли о Величии, нежели о Любви. Над изголовьем его кровати, например, где добрые люди вешают изречения из библии, находились начертанные четким, крупным, по-юношески вычурным почерком следующие истины: «Знание — сила», «Что сделал один, способен сделать другой» (под словом «другой» подразумевался, конечно, сам мистер Люишем). Эти истины не полагалось забывать ни на минуту. Каждое утро, когда голова мистера Люишема пролезала сквозь ворот рубашки, он мог вновь освежать их в своей памяти. А над выкрашенным желтой краской ящиком — на нем из-за отсутствия полок размещалась личная библиотека мистера Люишема — висела его «Programma». (Почему не просто «Программа», на этот вопрос мог бы ответить лучше моего редактор «Чэрч-таймс», который называет отдел литературной смеси «Varia».) В этой «Программе» год 1892-й был указан как срок, когда мистеру Люишему предстояло сдать при Лондонском

университете экзамены на степень бакалавра «с отличием по всем предметам», а 1895-й отмечен «золотой медалью». Дальше, своим чередом, должны были последовать «брошюры либерального направления» и тому подобные вещи. «Тот, кто желает управлять другими, должен прежде всего научиться управлять собой» — было написано над умывальником, а возле двери, рядом с выходной парой брюк, висел портрет Карлейля<sup>[1]</sup>.

Это были не пустые угрозы окружающему миру: действия уже начались. Растолкав Шекспира, эмерсоновские «Опыты»<sup>[2]</sup> и «Жизнь Конфуция»<sup>[3]</sup> в дешевом издании, стояли потрепанные и помятые учебники, несколько превосходных пособий «Всеобщей ассоциации заочного образования», тетради, чернила (красные и черные) в грошовых бутылочках и резиновая печатка с вырезанным на ней именем мистера Люишема. Полученные от Южно-Кенсингтонского колледжа голубовато-зеленые свидетельства о прохождении курса начертательной геометрии, астрономии, физиологии, физиографии и неорганической химии украшали третью стену. А к портрету Карлейля был приколот список французских неправильных глаголов.

Над умывальником, к которому угрожающе близко скосом подступала крыша — ведь обитал мистер Люишем в мансарде, — канцелярская кнопка удерживала расписание дня. Мистеру Люишему надлежало вставать в пять утра, а свидетелем тому, что это не пустое хвастовство, был американский будильник, стоявший на ящике возле книг. Подтверждали это и кусочки шоколада на бумажной тарелочке у изголовья постели. «До восьми — французский» — кратко извещало расписание. На завтрак полагалось двадцать минут; затем двадцать пять минут — не больше и не меньше — посвящалось литературе, то есть заучиванию отрывков (в основном риторического характера) из пьес Вильяма Шекспира, после чего следовало отправляться в школу и приступать к выполнению своих непосредственных обязанностей. На перерыв и час обеда расписание назначало сочинение из латыни (на время еды, однако, предписывалась опять литература), а в остальные часы суток занятия менялись в зависимости от дня недели. Ни одной минуты дьяволу с его «искушениями». Только семидесятилетний старец имеет право и время на праздность.

Подумать только, до чего превосходное расписание! Встать и приступить к работе в пять утра, когда весь мир вокруг тебя еще хранит горизонтальное положение и видит сны, нежась в тепле, а тот, кого вдруг разбудили, глупо таращит глаза и тотчас же, ворча и вздыхая, снова поворачивается на бок и засыпает. В восемь за плечами уже трехчасовая

работа, то есть на три часа больше знаний, чем у любого другого человека. На освоение иностранного языка требуется, как объяснял мне один известный ученый, около тысячи часов упорного труда; а если вы уже знаете три-четыре языка, то потребуется гораздо меньше времени и можно освоить по языку в год, занимаясь только перед завтраком. Владение языками — к вашим услугам, стоит лишь руку протянуть! Или взять литературу — удивительная идея! Послеобеденные часы — математика и естественные науки. Что может быть проще и одновременно величественнее? Через шесть лет мистер Люишем будет владеть пятью или шестью языками, получит глубокое, всестороннее образование и усвоит привычку к сказочному трудолюбию, и все это к двадцати четырем годам. У него уже будет диплом университета и приличные средства к существованию. Надо думать, и брошюры либерального направления тоже не окажутся пустяками. Можно себе представить, что ждет мистера Люишема в тридцать лет. Конечно, по мере приобретения жизненного опыта подвергнется кое-каким изменениям и «Programma», но дух ее не изменится, и дух этот — всепоглощающее пламя!

Он сидел лицом к ромбовидному окну и быстро-быстро что-то писал. Столом ему служил второй желтый ящик, поставленный стоймя; крышка ящика была откинута, поэтому колени мистера Люишема удобно устроились внутри. На постели были навалены книги и размноженные на ротапринте многочисленные инструкции его заочных наставников. Согласно висевшему на стене расписанию, мистер Люишем, как вы могли бы убедиться, занимался переводом с латинского языка на английский.

Мало-помалу скорость письма уменьшилась. Дело разладилось на «Urit me Glyceroe nitor»<sup>[4]</sup>. Эта фраза никак не давалась ему. «Urit me», — пробормотал он, и взгляд его, оторвавшись от книги, переместился на видневшуюся из окна крышу дома священника с ее обвитыми плющом печными трубами. Его лоб, сначала нахмуренный, теперь разгладился. «Urit me»! Прикусив зубами кончик ручки, он огляделся в поисках словаря. «Urare»?

Внезапно выражение его лица изменилось. Рука, протянутая к словарю, опустилась. Он прислушался к доносившемуся с улицы легкому постукиванию. Это были шаги.

Он вскочил и, вытянув шею, старался сквозь стекла ненужных ему очков и ромбовидные стекла окна разглядеть, что там на улице. Прямо под собой, внизу, он увидел шляпку, затейливо украшенную бело-розовыми цветами, плечо, кончик носа и подбородок. Ну да, это она, та самая незнакомка, которая в прошлое воскресенье сидела под хорами возле

Фробишеров. Тогда он тоже видел ее лишь краем глаза...

Он следил за ней, пока она не исчезла из поля зрения. Попытался даже проводить ее взглядом за угол...

Затем, вздрогнув, нахмурился и вынул ручку изо рта.

— Как я отвлекаюсь! — сказал он. — И по каждому пустяку! Где я остановился? Фу! — с шумом выдохнул он воздух, выражая этим свое раздражение, и сел, снова засунув колени в открытый ящик. — Urit me, — повторил он, кусая кончик пера и отыскивая словарь.

Была среда, в этот день занятий в школе не было. Стоял конец марта, и весенний день был великолепен своим янтарным светом, ослепительно белыми облаками и густо-синим небом; тут и там среди ветвей деревьев мелькали брызги яркой зелени, возбужденно и радостно чирикали птицы — радостный день, волнующий, зовущий, истинный вестник лета, близость которого уже чувствовалась в воздухе. Теплая земля раздавалась под натиском набухших семян, а в хвойных лесах, чуть слышно потрескивая, лопались чешуйчатые почки. И не только земля, воздух и деревья внимали зову матери-природы, он волновал и юношескую кровь мистера Люишема, побуждая его к жизни, жизни совсем иной, нежели та, к какой звала его «Programma».

Он увидел словарь, выглядывавший из-под газеты, нашел «Urit me», оценил сверкающий «nitor» плеч Гликеры, снова отвлекся и снова одернул себя.

— Не могу сосредоточиться, — сказал мистер Люишем.

Он снял свои бесполезные очки, протер стекла и сощурился. Проклятый Гораций с его эпитетами! Пойти разве погулять?

— Не поддамся, — заупрямился он, нацепил на нос очки и с воинственной решительностью, положив локти на ящик, вцепился руками в волосы...

Через пять минут он поймал себя на том, что следит за ласточками, скользящими в синеве над садом священника.

— Ну виданное ли это дело? — воскликнул он сердито, хотя и несколько неопределенно. — А все поблажки; работать сидя — это уже наполовину лень.

Итак, он поднялся, чтобы, стоя, продолжать работу, но теперь его взору открылась вся улица. «Если она повернула за угол у почты, то сейчас появится за огородами», — предположил неизведанный и недисциплинированный уголок в сознании мистера Люишема...

Она не появилась. Значит, она вовсе и не свернула у почты. Интересно, куда же она девалась? Может быть, она ходит на окраину города, гуляет по

аллее?.. Внезапно небольшая тучка закрыла солнце, сверкающая улица померкла, и мысли мистера Люишема стали послушными. И «*Mater saeva cupīdini*» — «Неукротимая мать желаний» — для подготовки к экзамену университет рекомендовал мистеру Люишему Горация («Оды», книга II) — была все-таки переведена до самого ее пророческого конца.

Как только церковные часы пробили пять раз, мистер Люишем с пунктуальностью, в которой было, пожалуй, слишком много поспешности для истинно серьезного студента, захлопнул Горация и, взяв в руки Шекспира, спустился по узкой, не покрытой ковром лестнице в столовую, где его ждал чай в обществе его квартирной хозяйки миссис Манди. Эта добрая женщина сидела в одиночестве, но, обменявшись с ней несколькими любезностями, мистер Люишем открыл своего Шекспира и, начав с отмеченного им места — это место, между прочим, приходилось на середину сцены, — принялся читать, машинально поглощая в то же время куски хлеба, намазанные черничным вареньем.

А миссис Манди глядела на него поверх очков и думала о том, как, должно быть, вредно для зрения так много читать, пока звяканье дверного колокольчика в лавке не возвестило о приходе очередного покупателя. Без двадцати пяти шесть мистер Люишем положил книгу обратно на подоконник, стряхнул с пиджака крошки и, надев свою шапочку с квадратным верхом, что лежала на чайнице, отправился в школу на вечернее «дежурство».

Улица была пустынна и залита золотым дождем заката. Это зрелище так захватило его, что он забыл повторить отрывок из «Генриха VIII», что надлежало сделать по пути в школу. Он шел и снова Думал о том, что увидел мельком сегодня из своего окна, о чьих-то подбородках и носиках... Взгляд его стал задумчивым.

Дверь школы услужливо отворил маленький мальчик, который ждал, чтобы у него проверили написанные им «строчки».

Мистер Люишем вошел, дверь за ним захлопнулась, и он сразу очутился в другом мире. Типично школьный вестибюль с его желтыми под мрамор обоями, где по стене тянулся длинный ряд крючков для головных уборов, в стойке торчали старые зонты, а в углу валялась чья-то школьная шапочка с продавленным верхом и растерзанный на листки учебник «*Principia*», казался тусклым и мрачным по сравнению с блистательным закатом трепетного мартовского вечера. Непривычное чувство серости и однообразия жизни учителя, жизни всех, кто посвятил себя науке, на мгновение пришло к мистеру Люишему. Он взял «строчки», неуклюже выписанные на трех тетрадных страницах, и перечеркнул каждую страницу



чудовищных размеров подписью: «Д.Э.Л.» В отворенную дверь классной комнаты доносился знакомый шум с площадки для игр.

## 2. «Когда подует ветер»

Слабым местом в пентаграмме расписания, в той самой пентаграмме, которой надлежало оградить мистера Люишема от злых духов-искусителей на его пути к Величию, было отсутствие параграфа, запрещающего заниматься наукой вне дома. Недостаток этот стал очевидным на другой день после описанных в предыдущей главе событий, когда мистер Люишем поймал себя на пошлом подглядывании из окна. День этот оказался еще обольстительнее и прекраснее, чем канун его, и в половине первого, вместо того, чтобы после занятий в школе поспешить прямо домой, мистер Люишем не пренебрег возможностью пройтись — с Горацием в кармане — к воротам парка, а оттуда по длинной аллее, окаймленной старыми деревьями, которая тянется по окраине городка Хортли. Ему без труда удалось отогнать мелькнувшее было сомнение в серьезности собственных намерений. На аллее не встретишь ни души, там можно спокойно почитать. Провести время на свежем воздухе, на ходу, гораздо полезнее, чем сидеть, скрючившись, в душной, мрачной комнате. Свежий воздух укрепляет здоровье, закаляет, бодрит...

День был ветреный, и покрытые почками ветви деревьев непрерывно шелестели. Лучи солнца пронизывали сплетенные сучья буков и золотили нижние ветви, украшенные стрелками молодых побегов.

«Tu, nisi ventis

Debes, ludibrium, cave»<sup>[5]</sup>, —

вот о чем заставлял себя думать мистер Люишем, по привычке стараясь держать книгу открытой сразу в трех местах: на тексте, примечаниях и подстрочном переводе, — и в то же время отыскивая в словаре слово «ludibrium», когда его взгляд, с опасностью для дела блуждавший на самом верху страницы, поднялся еще выше и с невероятной быстротой скользнул вдоль по аллее...

Навстречу шла девушка в украшенной белыми цветами соломенной шляпке. Она тоже была погружена в науку и так сосредоточенно делала какие-то записи, что, вероятно, даже не замечала его.

Непонятные чувства вдруг захватили мистера Люишема, чувства, совершенно необъяснимые чисто случайной встречей. Прозвучал даже

какой-то шепот, подозрительно похожий на слова: «Это она!» Заложив пальцами страницу, он шел ей навстречу, готовый при первом ее взгляде снова зарыться в текст, и следил за ней поверх книги. Слова «ludibrium» для него больше не существовало. Она же, увлеченная своим писанием, явно не замечала его присутствия. Интересно, что она пишет? Ее склоненное лицо казалось детским. На ней была короткая — выше щиколоток — юбка, которая развевалась по ветру, открывая ножки, обутые в туфельки. Ступала она — он приметил — легко и грациозно. Залитая солнцем фигурка — олицетворение здоровья и легкости — приближалась к нему, и все это, как он потом с удивлением вспоминал, вовсе не предусматривалось его «Программой».

Не подымая глаз, она подходила все ближе и ближе. Он был полон смутного и нелепого желания без всякого повода, так вот попросту подойти к ней и заговорить. Удивительно, как это она его не замечает. С замиранием сердца он ждал того мгновения, когда она поднимет взгляд, хотя чего тут, собственно, было ждать!.. Он подумал о том, каким предстанет ей, когда она обратит на него взор, — интересно, куда свешивается кисточка его шапочки, иногда она падает прямо на глаза. Разумеется, сейчас не время было отыскивать рукой эту злосчастную кисточку. Дрожь волнения охватила его. И шаг, обычно машинальный, стал неуверенным и тяжелым. Словно ему еще никогда в жизни не доводилось ни с кем встречаться на дороге. Расстояние между ними все сокращалось, осталось десять ярдов, девять, восемь. Неужели она пройдет, так и не взглянув на него?..

И тут их взоры встретились. У нее были карие глаза, и мистер Люишем, совершенный дилетант в такого рода делах, не мог подыскать слов для их описания. Она сдержанно глянула ему в лицо, но, казалось, ничего интересного в нем не нашла. А потом перевела свой взгляд на гущу деревьев и прошла мимо, и снова перед ним была лишь пустынная аллея, залитая солнцем, окропленная зеленью пустота.

Все кончено.

Но вдруг откуда-то издалека налетел шумный ветер, и в то же мгновение все ветки над головой пришли в движение, зашелестели и заскрипели. Казалось, его гнало прочь от нее. Прошлогодние листья, когда-то зеленые, а теперь увядшие, и молодые листочки — все понеслось, обгоняя друг друга, подпрыгивая, танцуя и кружась, как вдруг что-то большое припало на мгновение к его затылку, потом рванулось в сторону и тоже понеслось вдоль по аллее.

Что-то ярко-белое! Листок бумаги, листок, на котором она писала.

Сначала он не разобрал, что случилось. Но потом бросил взгляд назад

и внезапно понял все. Неловкость его исчезла. С Горацием в руке он бросился вдогонку за листком и через десять шагов настиг беглеца. Торжествуя, он повернулся к ней со своей добычей. Он успел бросить взгляд на исписанную страницу, но поначалу, в увлечении, не осознал увиденного. И только сделав шаг к ней навстречу, вдруг понял, что это было. Одинаковые строки, прописные буквы! Неужели это?.. Он остановился. Подняв брови, снова взглянул на листок. Он держал его прямо перед собой и читал без всякого стеснения. На листке стилографическим пером было выведено:

«ПРИДИ! О, СКОРЕЙ!»

И снова:

«ПРИДИ! О, СКОРЕЙ!»

И снова:

«ПРИДИ! О, СКОРЕЙ!»

«ПРИДИ! О, СКОРЕЙ!»

И так далее; вся страница была исписана мальчишеским почерком, удивительно похожим на почерк Фробишера-второго.

Сомневаться не приходилось!

— Послушайте! — сказал мистер Люишем, не веря своим глазам и от удивления забывая о приличии... Он прекрасно помнил, как задал Фробишеру-второму тридцать раз переписать эту фразу в наказание за то, что тот слишком громко произнес ее на уроке. Значит, вместо мальчика писала она. Это совсем не вязалось с тем смутным суждением, которое он успел о ней составить. Почему-то казалось, что она его обманула. Но, разумеется, это длилось всего лишь секунду.

Она подошла к нему.

— Можно мне взять мой листок? — спросила она, чуть запыхавшись.

Она была дюйма на два ниже его. «Заметил ли ты ее полуоткрытые губки?» — шепнула мать-природа мистеру Люишему (он вспомнил об этом позднее). В ее глазах чуть трепетало какое-то опасение.

— Послушайте, — сказал он, все еще негодуя, — этого делать не следует.

— Чего этого?

— Вот этого. Дополнительную работу. За моих учеников.

Она подняла брови, но тотчас снова их нахмурила и взглянула на него.

— Значит, вы мистер Люишем? — удивилась она, словно эта мысль ей и в голову не приходила.

Она прекрасно знала, кто он, и именно поэтому взялась писать «строчки»; но делала вид, будто не знает его, что давало ей возможность затеять разговор.

Мистер Люишем кивнул.

— Боже мой! Значит, вы поймали меня?

— Боюсь, что так, — ответил Люишем. — Боюсь, что я действительно вас поймал.

Они смотрели друг на друга, ожидая, что будет дальше. Она решила просить о снисхождении.

— Тедди Фробишер — мой двоюродный брат. Я знаю, что плохо поступила, но у него куча дел и ему так не везет. А мне нечего делать. По правде говоря, это я предложила...

Она замолчала и посмотрела на него, считая, по-видимому, что этих доводов достаточно.

Их глаза встретились, и это привело обоих в странное смущение. Он попытался продолжить разговор о «строчках» Фробишера.

— Вам не следовало этого делать, — повторил он, не сводя с нее глаз.

Она опустила взгляд, потом снова посмотрела ему в лицо.

— Да, — сказала она. — Наверное, не следовало. Извините, пожалуйста.

Ее манера то опускать, то поднимать глаза опять произвела на мистера Люишема какое-то странное действие. Ему казалось, что разговор у них идет совсем не о том, о чем они говорят, — предположение явно нелепое, которое можно объяснить только полным сумбуром в его мыслях. Он предпринял еще одну серьезную попытку сохранить за собой солидную позицию человека, делающего внушение.

— Знаете, я бы все равно заметил, что почерк не его.

— Разумеется. Я поступила очень дурно, уговорив Тедди. Виновата только я, уверяю вас. Ему так трудно. И я подумала...

Она снова замолчала, и румянец на ее щеках стал чуть ярче. Внезапно юноша почувствовал, что его собственные щеки тоже, как это ни глупо, запылали. Необходимо было избавиться наконец от этого ощущения двойственности в разговоре.

— Поверьте, — сказал он, на сей раз от души, — я никогда не наказываю, если ученик того не заслужил. Я взял себе это за правило. Я...

гм... всегда придерживаюсь этого правила. Я очень, очень осторожен.

— Мне, право, страшно жаль, — перебила она его, искренне раскаяваясь. — Я поступила глупо.

Люишему было ужасно неловко слушать ее извинения, и он поспешил ответить, полагая, что тем самым сгонит разливавшуюся по лицу краску.

— Этого я не думаю, — возразил он с несколько запоздалой торопливостью. — Напротив, вы поступили очень мило... Это очень мило с вашей стороны. И я знаю... Мне вполне понятно, что... гм... ваша доброта...

— Толкнула меня на необдуманный поступок. А теперь еще и бедняжку Тедди ждут большие неприятности за то, что он позволил мне...

— О нет, — возразил мистер Люишем, спеша воспользоваться случаем и стараясь не улыбаться от гордости за свое благородство. — Я не имел права заглядывать в листок, когда поднял его, абсолютно никакого права. А следовательно...

— Вы не придадите этому значения? Правда?

— Конечно, нет, — ответил мистер Люишем.

Ее лицо осветилось улыбкой, и у мистера Люишема тоже сразу стало легче на душе.

— А что же тут особенного? Ведь это только справедливо.

— Однако многие поступили бы иначе. Школьные учителя не всегда ведут себя так... по-рыцарски.

Он ведет себя по-рыцарски! Эта фраза взбодрила его, как хорошая шпора коня. И он с готовностью рванулся вперед.

— Если вам угодно... — начал он.

— Что?

— Он может этого и не делать. Дополнительную работу, хочу я сказать. Я освобождаю его.

— Правда?

— Да.

— Это очень мило с вашей стороны.

— Ну что вы! — сказал он. — Какие пустяки! Если вы действительно считаете...

Его переполняло чувство восхищения собой за это вопиющее поправление справедливости.

— Это очень мило с вашей стороны, — повторила она.

— Пустяки, — еще раз подтвердил он, — сущие пустяки.

— Большинство людей никогда бы...

— Я знаю.

Наступило молчание.

— Не стоит беспокоиться, — сказал он. — Честное слово.

Кажется, он все бы отдал, лишь бы сказать еще что-нибудь, остроумное и забавное, но ничто не шло на ум.

Молчание длилось. Она оглянулась на пустую аллею. Их разговор из невысказанных, но таких важных фраз подходил к концу. Она нерешительно взглянула на него, снова улыбнулась и протянула руку. Конечно, так и следовало поступить. Он взял ее руку, тщетно подыскивая в своем беспомощном, смятенном разуме подходящие слова.

— Это очень мило с вашей стороны, — еще раз произнесла она.

— Пустяки, уверяю вас! — повторил мистер Люишем, по-прежнему тщетно подыскивая хоть какое-нибудь замечание, которое могло бы послужить переходом к новой теме. Ее рука была прохладной, нежной и в то же время крепкой — пожимать ее было так приятно, и это ощущение на секунду вытеснило все остальные. Он держал ее руку в своей и не находил слов.

Они спохватились, что стоят, держась за руки. И оба засмеялись в смущении. Они обменялись дружеским рукопожатием и с неловкой поспешностью отдернули руки. Она повернулась, кинув на него еще один робкий взгляд через плечо, помедлила в нерешительности, потом сказала:

— Прощайте, — и быстро зашагала прочь.

Он поклонился ей вслед, широко взмахнув на старинный лад своей шапочкой, и тут какие-то до сих пор дремавшие тайники его разума взбунтовались.

Не успела она отойти на шесть шагов, как он снова был рядом.

— Послушайте, — сказал он, пугаясь собственной робости и приподнимая свой головной убор с такой неловкой торжественностью, будто поравнялся с похоронной процессией, — но этот листок бумаги...

— Да? — сказала она с удивлением, на сей раз вполне искренним.

— Можно мне взять его?

— Зачем?

У него захватило дух от радостного волнения, как бывает, когда скользишь по крутому склону снежной горы.

— Мне хотелось бы его сохранить.

Подняв брови, она улыбнулась, но он был слишком взволнован, чтобы ответить улыбкой.

— Видите? — сказала она и протянула руку со скомканным в шарик листком. Она засмеялась, но несколько принужденно.

— Мне все равно, — ответил мистер Люишем, тоже засмеявшись.

Решительным жестом он схватил листок и дрожащими пальцами разгладил его.

— Вы не против? — спросил он.

— Против чего?

— Если я сохраню его?

— Нет, отчего же...

Молчание. Глаза их снова встретились. Странное чувство скованности возникло у обоих, немота стучала в висках.

— Мне в самом деле пора идти, — вдруг сказала она, осмелившись нарушить чары. И, повернувшись, ушла, а он остался с измятым листком в той же руке, что держала книгу, между тем как другая почтительно поднимала на прощание шапочку.

Он не отрывал глаз от ее удаляющейся фигурки. Сердце его билось с необычайной быстротой. Как легко, как изящно она двигалась! Маленькие круглые пятнышки солнечного света бежали по ее платью. Сначала она шла быстро, потом замедлила шаг, даже повернула слегка голову, но ни разу не оглянулась, пока не очутилась у ворот парка. Тут она, маленькая, далекая фигурка, обернулась, дружески махнула на прощание рукой и исчезла.

Лицо его горело, глаза блеснули. Как это ни странно, но он никак не мог отдышаться. Еще долго стоял он, глядя на опустевшую аллею, пока наконец не вспомнил о своем трофее, прижатом к переплету забытого Горация.



### 3. Чудесное открытие

По воскресным дням Люишем обязан был дважды водить воспитанников в церковь. Мальчики сидели на хорах выше певчих, лицом к органу и боком к собранию. Они были на виду у всех, и он испытывал мучительную неловкость от того, что обращает на себя внимание; правда, порой на него нападало редкостное тщеславие, и тогда он воображал, что все люди восхищаются его высоким челом, на коем столь гармонично отразились все его дипломы. В те дни он был высокого мнения о своих дипломах и о своем челе и весьма невысокого о своем по-юношески открытом лице. (Сказать по правде, в его челе не было ничего примечательного.) Он редко смотрел вниз на собрание, чувствуя, что встретил бы взоры всех присутствующих, устремленные прямо на него. Поэтому и в то утро он не заметил что скамья Фробишеров до самого конца службы пустовала.

Но вечером по пути в церковь Фробишеры и их гостя пересекали рыночную площадь как раз в тот момент, когда по дальней ее стороне шла вереница школьников. На девушке было нарядное платье, как будто уже наступила пасха, а ее лицо, обрамленное темными волосами, показалось Люишему странно новым и вместе с тем знакомым. Она преспокойно взглянула на него. Ему было страшно неловко, и он уже хотел было сделать вид, будто не замечает ее. Но затем, смутившись, рывком приподнял свою квадратную шапочку — ведь его приветствие могло предназначаться и миссис Фробишер. Ни та, ни другая дама не ответили на его поклон, сочтя его, вероятно, несколько неожиданным. А в этот момент юный Сиддонс уронил свой молитвенник, нагнулся его поднять, и Люишем, натолкнувшись на мальчика, чуть было не упал.

...В церковь он вошел в состоянии полного отчаяния.

Но утешение не заставило себя долго ждать. Он ясно видел, что, усаживаясь, она бросила взгляд на хоры, а позднее, когда он, преклонив в молитве колени, сквозь пальцы посмотрел вниз, взгляд ее вновь был обращен на хоры. Нет, она над ним не смеялась.

В те дни в душе Люишема было немало белых пятен. Он верил, например, что всегда остается разумным существом, между тем как на самом деле в определенных обстоятельствах он легко терял всю свою рассудительность и выдержку и оказывался целиком во власти чувств и фантазий. Музыка, например, особенно пение, если голоса звучали в

унисон, уносила его в заоблачные выси, он забывал обо всем, им овладевало глубокое радостное волнение. И вечерняя служба в Хортлийской церкви, когда священник надевал стихарь и когда при трепетном мерцании свечей голос священника сменялся песнопениями, а все собрание разом то опускалось на колени, то вновь садилось на скамьи и в один голос отзывалось на слова пастыря, — все это неизменно опьяняло его. Даже вдохновляло, если хотите, преобразуя прозу его жизни в поэзию. И случай, придя на помощь природе, кое-что подсказал ему, теперь особенно восприимчивому к намекам.

Второй гимн был простым и всем хорошо известным; в нем говорилось о вере, надежде и благодати, и каждая его строфа заканчивалась словом «любовь». Вообразите, как это должно звучать, пропетое медленно и протяжно:

Вера обратится в знание,  
А надежда — в ликование.  
Вечно лишь любви сиянье —  
Ниспошли же нам любовь.

При третьем повторении этого рефрена Люишем посмотрел мимо алтаря вниз и на мгновение встретился взглядом с ней.

Голос его вдруг оборвался. Но тут он вспомнил, что там, внизу, целые ряды лиц обращены к нему, и он не осмелился еще раз взглянуть на нее. Он чувствовал, что кровь приливает к его лицу.

Любовь! Она выше веры и надежды. Она выше всего на свете. Выше, чем слава. Выше, чем знания. Это великое открытие потоком хлынуло в его душу, вместе с мелодией гимна затопляя ее, и одновременно краска залила ему все лицо до корней волос. Все, что было потом, служило лишь фоном для этой блистательной истины, смутным фоном, в котором преобладало изумление: он, мистер Люишем, влюблен.

«А-минь». Он был так поглощен своим открытием, что когда все молящиеся уже уселись на свои места, он все еще продолжал стоять. Он рывком и с таким шумом опустился на скамью, что эхо, казалось, оповестило об этом движении всю церковь.

Когда они вышли на паперть в сгущающиеся сумерки, ему казалось, что он повсюду видит ее. Ему почудилось, что она ушла вперед, и он настойчиво торопил своих подопечных в надежде ее догнать. Они пробирались сквозь толпу расходившихся по домам людей. Поклониться ли

ей еще раз?.. Но оказалось, что это не она, а одетая в светлое платье Сузи Хопброу, ворона в перьях голубки. Он испытал странное чувство облегчения и одновременно разочарования. Больше в этот вечер ему не суждено было ее увидеть.

Из школы он поспешил к себе домой. Ему очень хотелось побыть одному. Он поднялся в свою мансарду и сел перед перевернутым ящиком, на котором лежала открытая «Аналогия» Батлера<sup>[6]</sup>. Он не стал зажигать свечу. Откинувшись на спинку стула, он бездумно созерцал одинокую звезду, что висела над садом священника.

Он вынул из кармана помятый листок бумаги, исписанный почерком, похожим на почерк Фробишера-второго — листок был разглажен и тщательно сложен, — и, чуть помедлив от смущения, приложил это сокровище к губам. «Programma» и расписание белели в темноте, как призраки своего собственного бывшего величия.

Миссис Манди пришлось трижды звать его к ужину.

Поев, он тотчас вышел из дому и бродил под звездами до тех пор, пока снова не очутился на холме за пределами города. Он взобрался по склону его до перелаза, откуда был виден дом Фробишеров. Только одно окно светилось, и он решил, что это ее окно. В действительности же за шторой этого окна тридцативосьмилетняя миссис Фробишер крутила свои папиюльки — она предпочитала бумажки, потому что они не так вредны для волос — и между делом обсуждала с лежавшим уже в постели мистером Фробишером поведение некоторых соседей. Затем она поднесла к зеркалу свечу, чтобы исследовать небольшое пятнышко на лице, причинявшее ей серьезное беспокойство.

А на холме стоял восемнадцатилетний мистер Люишем и добрых полчаса следил за продолговатым пламенем свечи, пока оно не погасло и весь дом не погрузился в полный мрак. Тогда он глубоко вздохнул и в самом восторженном настроении вернулся домой.

На следующее утро он проснулся с весьма серьезными мыслями, правда, воспоминания его о вчерашнем дне были не совсем отчетливы. Взгляд его упал на часы. Было уже шесть, а он не слышал будильника; оказывается, он позабыл его завести. Он тотчас вскочил с постели и наступил на свои парадные брюки, которые, вместо того чтобы аккуратно сложенными висеть на стуле, в беспорядке валялись на полу. Намыливая лицо, он попытался, согласно своим правилам, припомнить прочитанное накануне. Но, хоть убейте, не мог ничего вспомнить. Истина открылась ему, когда он надевал рубашку. Голова его на полпути к вороту вдруг остановилась, манжеты, болтавшиеся в воздухе, на мгновение повисли в

неподвижности.

Затем голова медленно вынырнула на свет божий. На лице его застыло изумление. Он вспомнил. Он вспомнил все случившееся, но вспомнил, как обычную новость, без малейшего волнения. Со всей бесцветной прозаичностью раннего, серого утра.

Да. Теперь он помнил совершенно отчетливо. Вчера он ничего не прочел. Он влюбился.

Потом эта мысль вдруг споткнулась о какое-то препятствие. Некоторое время он стоял, глядя перед собой, затем с рассеянным видом принялся отыскивать запонку для воротника. Возле «Программы» он остановился и скользнул по ней взглядом.

## 4. Удивленно поднятые брови

— О работе все равно забывать не следует, — говорил себе мистер Люишем.

Но никогда еще не были так заманчивы перспективы занятий на свежем воздухе. Перед завтраком он около получаса читал, расхаживая по переулку возле дома Фробишеров, а в перерыве между завтраком и началом уроков в школе бродил с книгой в руках по аллее; из школы к себе домой он возвращался кружным путем, чтобы еще раз пройти по аллее, а перед вечерними занятиями минут тридцать или около того снова провел там. Во время этих штудий на открытом воздухе мистер Люишем если не смотрел поверх своей книги, то глядел назад, через плечо. И наконец кого же он увидел? Подумать только! Ее.

Он увидел ее краешком глаза и тотчас отвернулся, делая вид, будто ничего не заметил. Необычное волнение охватило все его существо. Руки изо всех сил стиснули книгу. Напряженно прислушиваясь к ее приближению, он не оглянулся вторично, а продолжал медленно и упорно идти вперед, читая оду, перевести которую не смог бы даже под страхом смерти. Спустя несколько секунд, нескончаемых, как вечность, у него за спиной послышались легкие шаги и шелест юбок.

Словно железные тиски сдавили ему голову, не позволяя ей повернуться назад.

— Мистер Люишем! — слышался совсем рядом ее голос. Он судорожно повернулся и неуклюже приподнял свою шапочку.

Она протянула руку; чуть замешкавшись, он схватил ее и держал в своей до тех пор, пока она ее не отняла.

— Я так рада, что мы встретились, — сказала она.

— Я тоже, — простодушно отозвался Люишем.

С минуту они стояли, выразительно глядя друг на друга, а затем жестом девушка выразила свое желание пройти вместе с ним по аллее.

— Мне очень хотелось, — сказала она, глядя себе под ноги, — поблагодарить вас за то, что вы освободили Тедди от наказания. Вот почему мне хотелось повидаться с вами. — Люишем шагнул вслед за ней. — Странно, не правда ли, — добавила она, взглянув ему в лицо, — что мы снова встретились здесь, на том же самом месте? Мне кажется... Да, именно на этом месте.

Мистер Люишем не мог вымолвить ни слова.

— Вы часто бываете здесь? — опросила она.

— Видите ли... — задумался он, голос его, когда он заговорил, звучал удивительно хрипло. — Нет. Нет. То есть... Не очень часто. Иногда. По правде говоря, мне нравится здесь читать... Ну, и... заниматься. Тут так тихо.

— Вы, наверное, много читаете?

— Когда преподаешь, это необходимо.

— Но вы...

— Разумеется, я люблю читать. А вы?

— Обожаю.

Мистер Люишем был рад, что она любит читать. Он был бы разочарован, если бы она ответила иначе. И говорила она с неподдельным жаром. Она обожает читать! Это было приятно. Значит, она сумеет хоть немного его понять.

— Конечно, — продолжала она, — я не так умна, как некоторые, и читать мне приходится без разбора, что удастся достать.

— Как и мне, — подхватил мистер Люишем. — Между прочим... вы читали... Карлейля?

Теперь беседа текла совсем свободно. Они шли рядом, а над головой у них деревья качали ветвями. Мистер Люишем был в полном восторге, который омрачало только опасение перед случайной встречей с кем-нибудь из учеников. Нет, она не особенно много читала Карлейля. Ей всегда хотелось его почитать, еще с детства, она столько о нем слышала. Она знала, что это по-настоящему великий писатель, великий из великих. Все, что она читала из его сочинений, ей понравилось. Это она может сказать. Больше, чем что-либо. И она видела в Челси дом Карлейля.

На Люишема, который знал Лондон лишь по шести-семи однодневным экскурсиям, ее последние слова произвели большое впечатление. Она становилась в его глазах чуть ли не близким другом великого писателя. Ему никогда с такой отчетливостью и в голову не приходило, что люди знаменитые тоже обитают под каким-то кровом. Несколькими штрихами она так обрисовала этот дом, что он сразу представил его себе. Она живет совсем близко, в Клэпхеме, оттуда до Челси можно дойти пешком. И он, желая побольше узнать о ее жизни дома, тотчас позабыл о мелькнувшем было намерении одолжить ей «Сартор Резартус»<sup>[7]</sup>.

— Клэпхем, это ведь почти в Лондоне? — спросил он.

— О да! — ответила она, но не проявила желания рассказывать ему о своем доме подробнее. — Мне нравится Лондон, — перешла она к общей теме, — особенно зимой. — И принялась расхваливать Лондон, его

публичные библиотеки, его магазины, толпы людей на улицах, возможность делать «что кому хочется», ходить в концерты, посещать театры. (По-видимому, она вращалась в довольно хорошем обществе.) — Всегда есть что посмотреть, даже если вы вышли всего лишь на прогулку, — сказала она, — а здесь и читать нечего, кроме пустых романов. Да и те не из новых.

Мистер Люишем с грустью должен был признать справедливость ее слов о культурном запустении в Хортли. Это ставило его гораздо ниже ее. Что он мог противопоставить ей? Только свою начитанность да свои аттестаты — а ведь она видела дом Карлейля!

— Здесь, — добавила она, — и поговорить не о чем. Здесь только сплетничают.

Увы, это было справедливо.

На углу, возле изгороди, позади которой на фоне голубого неба красовались увешанные серебряными сережками и усыпанные золотистой пылью ивы, они, как бы повинувшись единому желанию, повернули и пошли обратно.

— Здесь просто не с кем разговаривать, — сказала она. — Во всяком случае, в том смысле, что я называю разговором.

— Надеюсь, — решился на отчаянный шаг Люишем, — что пока вы в Хортли...

Он вдруг запнулся, и она, проследив за его взглядом, увидела, что навстречу им движется какая-то внушительных размеров фигура в черном.

— ...мы, — закончил начатую фразу мистер Люишем, — еще раз, быть может, сумеем встретиться.

Ведь он был уже готов договориться с ней о свидании. Он думал о живописных спутанных тропинках на берегу реки. Но появление мистера Джорджа Боновера, директора Хортлийской частной школы, поразительным образом охладило его пыл. Встречу нашей юной пары устроила, несомненно, сама природа, но, допустив к ним Боновера, она явила непростительное легкомыслие. И вот теперь, в ответственный миг, она скрылась, оставив мистера Люишема при самых неблагоприятных обстоятельствах, лицом к лицу с типичным представителем той общественной организации, которая решительно возражает *inter alia*<sup>[8]</sup> против того, чтобы молодой неженатый младший учитель заводил случайные знакомства.

— ...еще раз, быть может, сумеем встретиться, — произнес мистер Люишем, упав духом.

— Я тоже надеюсь, — ответила она.

Молчание. Теперь совсем отчетливо видны были черты лица мистера Боновера и особенно его черные кустистые брови; они были высоко подняты, что, вероятно, должно было выражать вежливое удивление.

— Это мистер Боновер? — спросила она.

— Да.

И снова долгое молчание.

Интересно, остановится ли Боновер, чтобы заговорить с ними? Во всяком случае, этому ужасному молчанию следует положить конец. Мистер Люишем мучительно искал в уме какую-нибудь фразу, какой можно было бы с достоинством встретить приближение начальства. Но, к его изумлению, ничего подходящего не находилось. Он сделал еще одно отчаянное усилие. За разговором они могли бы со стороны выглядеть весьма непринужденно. Молчание же — красноречивое свидетельство вины.

— Чудесный день нынче, правда? — спросил мистер Люишем.

— В самом деле, — согласилась она.

И в эту минуту мимо прошел мистер Боновер; лоб его, если можно так сказать, весь уполз куда-то вверх, а губы были выразительно поджаты. Мистер Люишем приподнял свою квадратную шапочку, и, к его удивлению, мистер Боновер ответил ему подчеркнуто низким поклоном — его шляпа описала полукруг, — бросил испытующе-недоброжелательный взгляд и прошествовал дальше. Люишема до глубины души поразило подобное преобразование обычно небрежного кивка директора. Так до поры до времени завершился этот ужасный инцидент.

На мгновение Люишема охватил гнев. С какой стати вообще-то Боновер или кто-нибудь другой будет вмешиваться в его жизнь? Он вправе разговаривать с кем хочет. Быть может, их представили друг другу по всем правилам — Боноверу-то об этом неизвестно. Скажем, например, их мог познакомить юный Фробишер. Тем не менее от радостного настроения Люишема не осталось и следа. Весь остаток разговора он вел себя удивительно глупо, и восхитительное ощущение смелости, которое до сих пор вдохновляло и изумляло его во время беседы с ней, теперь позорно увяло. Он был рад, определенно рад, когда все окончилось.

У ворот парка она протянула ему руку.

— Боюсь, я помешала вашему чтению, — оказала она.

— Ничуть, — отозвался, немного покраснев, мистер Люишем. — Не припомню случая, когда беседа доставляла бы мне такое удовольствие...

— Я заговорила с вами сама, боюсь, это было... нарушением этикета, но мне, право, так хотелось поблагодарить вас...



— Не стоит говорить об этом, — сказал мистер Люишем, в душе потрясенный «этикетом».

— До свиданья.

Он в нерешительности постоял у сторожки привратника, потом снова вернулся на аллею, чтобы его не видели идущим за ней следом по Вест-стрит.

И в этот момент, идя в противоположном от нее направлении, он вспомнил, что не одолжил ей книгу, как хотел, и не успел договориться о новой встрече. Ведь она может в любой день покинуть Хортли, дабы возвратиться в свой прекрасный Клэпхем. Он остановился в нерешительности. Бежать ли за ней? Но тут перед его мысленным взором возникло лицо Боновера с его загадочным выражением. Он решил, что попытка догнать ее окажется слишком заметной. И все же... Минуты шли, а он никак не мог решиться.

Когда он наконец вернулся домой, миссис Манди уже доедала свой обед.

— Все ваши книги, — сказала миссис Манди, которая по-матерински опекала его. — Читаете, читаете, и время-то некогда приметить. А теперь вам придется есть остывший обед, он и в желудке-то у вас не успеет как следует уложиться до ухода в школу. Этак и пищеварение недолго испортить.

— Не беспокойтесь о моем пищеварении, миссис Манди, — отозвался мистер Люишем, отрываясь от своих сложных и, по всей вероятности, мрачных размышлений. — Это — мое личное дело.

Так резко он прежде никогда не говорил.

— Лучше иметь хороший, исправно действующий желудок, чем голову, полную премудростей, — заметила миссис Манди.

— А я, как видите, думаю по-другому, — отрезал мистер Люишем и снова впал в мрачное молчание.

— Скажите, пожалуйста! — пробормотала себе под нос миссис Манди.

## 5. Нерешительность

Мистер Боновер, выждав должное время, заговорил о случившемся только днем, когда Люишем присматривал за игравшими в крикет воспитанниками. Для начала он сделал несколько замечаний о перспективах их школьной команды, и Люишем согласился с ним, что Фробишер-первый в нынешнем сезоне как будто подает неплохие, надежды.

Последовало молчание, во время которого директор что-то мурлыкал себе под нос.

— Кстати, — не сводя глаз с играющих, заметил он, словно продолжая беседу, — насколько мне известно, у вас здесь в Хортли знакомых не было?

— Да, — ответил Люишем, — совершенно верно.

— Уже подружились с кем-нибудь?

На Люишема вдруг напал кашель, а его уши — о, эти проклятые уши! — запылали.

— Да, — ответил он, стараясь овладеть собой. — О да. Да. Подружился.

— Наверное, с кем-нибудь из местных жителей?

— Нет. Не совсем.

Теперь у Люишема пылали не только уши, но и щеки.

— Я видел вас на аллее, — сказал Боновер, — за беседой с молодой леди. Ее лицо показалось мне знакомым. Кто она?

Ответить ли, что она знакомая Фробишеров? А вдруг Боновер с его предательской любезностью расскажет об этом Фробишерам-родителям и у нее будут неприятности?

— Это, — невнятно начал Люишем, густо краснея от такого насилия над честностью и понижая голос, — это... старая приятельница моей матери. Я познакомился с нею когда-то в Солсбери.

— Где?

— В Солсбери.

— А как ее фамилия?

— Смит, — опрометчиво выпалил Люишем, и не успела ложь сорваться с его уст, как он уже раскаялся.

— Хороший удар, Гаррис! — крикнул Боновер и захлопал в ладоши. — Отличный удар, сэр.

— Гаррис подает неплохие надежды, — заметил мистер Люишем.

— Очень неплохие, — подтвердил мистер Боновер. — О чем мы говорили? А-а, странные совпадения случаются на свете, хотел я сказать. У Фробишеров, здесь же, в нашем городе, гостит некая мисс Хендерсон... не то Хенсон... Она удивительно похожа на вашу мисс...

— Смит, — подсказал Люишем, встречая взор директора и заливаясь еще более ярким румянцем.

— Странно, — повторил Боновер, задумчиво его разглядывая.

— Очень странно, — пробормотал Люишем, отводя глаза и проклиная собственную глупость.

— Очень, очень странно, — еще раз сказал Боновер. — По правде говоря, — добавил он, направляясь к школе, — я никак не ожидал от вас этого, мистер Люишем.

— Чего не ожидали, сэр?

Но мистер Боновер сделал вид, что не расслышал этих слов.

— Черт побери! — сказал Люишем. — О проклятье! — выражение, несомненно, предосудительное и в те дни весьма редкое в его лексиконе.

Он хотел бы догнать директора и спросить: уж не подвергает ли тот сомнению его слова? В ответе, впрочем, вряд ли приходилось сомневаться.

Минуту он постоял в нерешительности, потом повернулся на каблуках и зашагал домой. Каждый мускул у него дрожал, а лицо непрерывно подергивалось от злости. Он больше не испытывал смятения, он негодовал.

— Будь он проклят! — возмущался мистер Люишем, обсуждая этот случай со стенами своей комнаты. — Какого дьявола он лезет не в свои дела?

— Занимайтесь своими делами, сэр! — кричал мистер Люишем умывальнику. — Черт бы побрал вас, сэр, занимайтесь своими делами!

Умывальник так и поступал.

— Вы превышаете свою власть, сэр! — чуть успокоившись, продолжал мистер Люишем. — Поймите меня! Вне школы я сам себе хозяин.

Тем не менее в течение четырех дней и нескольких часов после разговора с мистером Боновером мистер Люишем столь свято следовал полувысказанным предначертаниям начальства, что совсем забросил занятия на открытом воздухе и даже боролся, правда, с убывающим успехом, за соблюдение не только буквы, но и духа своего расписания. Однако большей частью он занимался тем, что досадовал на количество скопившихся дел, выполнял их небрежно, а то и просто сидел, глядя в окно. Голос благоразумия подсказывал ему, что новая встреча и новая беседа с девушкой повлекут за собой новые замечания и неприятности, помешают

подготовке к экзаменам, явятся нарушением «дисциплины», и он не сомневался в справедливости такого взгляда. Чепуха — вся эта любовь; она существует только в плохих романах. Но тут мысль его устремлялась к ее глазам, осененным полями шляпы, и обратно эту мысль водворить можно было только силой. В четверг, по дороге из школы, он издали увидел ее и, чтобы избежать встречи, поспешил войти в дом, демонстративно глядя в противоположную сторону. Однако этот поступок был поворотной точкой. Ему стало стыдно. В пятницу вера в любовь ожила и укрепилась, а сердце было полно раскаяния и сожаления об этих потерянных днях.

В субботу мысль о ней настолько овладела им, что он был рассеянным даже на своем излюбленном уроке алгебры; к концу занятий решение было принято, а благоразумие очертя голову обратилось в бегство. После обеда, что бы ни случилось, он пойдет на аллею, увидит девушку и снова поговорит с ней. Мысль о Боновере возникла, но тотчас же была изгнана. И, кроме того...

После обеда Боновер обычно отдыхает. Да, он пойдет, отыщет ее и будет говорить с ней. И ничто его не остановит.

Как только решение было принято, воображение заработало с удвоенной энергией, подсказывая ему нужные фразы, соответствующие позы, рисуя множество смутных и прекрасных видений. Он скажет это, он скажет то, ни о чем, кроме своей необыкновенной роли влюбленного, он и думать не мог. Какой он трус, зачем так долго прятался от нее! О чем он только думал? Как он объяснит ей свое поведение при встрече? А что, если высказать все начистоту?

Он принялся размышлять о том, насколько он может быть с нею откровенен. Поверит ли она, если он постарается ее убедить, что в четверг действительно ее не видел?

И вдруг — о ужас! — в самый разгар этих мечтаний явился Боновер и попросил его подежурить после обеда вместо Данкерли на площадке для крикета. Данкерли был старшим учителем в школе, единственным коллегой Люишема. В обращении Боновера не осталось и следа осуждения, его просьба к подчиненному была своего рода оливковой ветвью. Но для Люишема это было жестоким наказанием. Роковую минуту он колебался, почти готовый согласиться. Ему предстало мгновенное видение долгого послеобеденного дежурства, а тем временем она, быть может, уже укладывает вещи перед отъездом в Клэпхем. Он побледнел. Мистер Боновер зорко следил за выражением его лица.

— Нет, — резко сказал Люишем, вкладывая в это слово всю свою решительность и тотчас же начиная неумело подыскивать предлог для

отказа. — Мне очень жаль, что я не смогу исполнить вашей просьбы, но... я договорился... Я уже условился сегодня на после обеда.

Это была явная ложь. Брови мистера Боновера полезли вверх, а от его обходительности и следа не осталось.

— Дело в том, — сказал он, — что миссис Боновер ждет нынче гостя, и мы бы хотели, чтобы мистер Данкерли составил нам партию в крокет...

— Мне, право, очень жаль, — повторил все еще настроенный решительно мистер Люишем, тотчас отметив про себя, что Боновер будет занят крокетом.

— Вы случайно не играете в крокет? — спросил Боновер.

— Нет, — ответил Люишем, — не имею о нем ни малейшего представления.

— А если бы мистер Данкерли сам попросил вас? — настаивал Боновер, зная, с каким уважением Люишем относится к правилам этикета.

— О, дело вовсе не в этом, — ответил Люишем, и Боновер с оскорбленным видом и удивленно поднятыми бровями удалился, а он продолжал стоять бледный, неподвижный, пораженный собственной отвагой.

## 6. Скандальная прогулка

Как только уроки окончились, Люишем освободил из заключения провинившихся учеников и поспешил домой провести оставшееся до обеда время, но как? Быть может, и не совсем справедливо по отношению к нему рассказывать об этом, возможно, романисту-мужчине не пристало разглашать тайны своего же пола, но, как утверждала надпись на стене у ромбовидного окна: «Magna est veritas et prevalebit»<sup>[9]</sup>. Мистер Люишем тщательно пригладил щеткой волосы, а потом живописно их взбил; перепробовал все галстуки, остановив выбор на белом; старым носовым платком почистил ботинки, передел брюки, потому что манжеты на его будничной паре порядком пообтрепались, и подкрасил чернилами локти сюртука в тех местах, где швы побелели. А если уж быть совсем откровенным, он долго с разных сторон изучал в зеркале свое юношеское лицо, придя в конечном счете к заключению, что нос его мог бы с успехом быть немного поменьше...

Тотчас же после обеда он вышел из дому и кратчайшим путем направился к аллее, уговаривая себя, что ему нет дела, даже если он встретит по дороге самого Боновера. Намерения его были весьма неопределенны, совершенно ясно было одно: он хочет увидеть девушку, с которой уже встречался в этой аллее. Он знал, что увидит ее. Что же касается препятствий, то мысль о них лишь подбадривала его и даже доставляла удовольствие. По каменным ступенькам он поднялся к тому месту, откуда был виден дом Фробишеров, откуда он смотрел однажды на окно их спальни. И, скрестив руки, уселся там, на виду у всех обитателей дома.

Было без десяти два. Без двадцати три он все еще сидел на месте, но руки его уже были глубоко в карманах, взгляд хмурый, а нога нетерпеливо постукивала по каменной ступеньке перелаза. Ненужные ему очки лежали в кармане жилета, где они, впрочем, покоились весь этот день, а шапочка была чуть сдвинута на затылок, открывая прядь волос. За это время по аллее за его спиной прошли два-три человека, но он притворился, будто не видит их, и только пара птичек-завирушек, преследовавших друг друга в залитой солнцем вышине, да волнуемое ветром поле служили ему развлечением. Странно, конечно, но по мере того, как время шло, он стал на нее сердиться. Лицо его потемнело.

За спиной у него слышались шаги. Он не оглянулся — его

раздражала мысль, что прохожие видят, как он сидит и ждет. Его некогда всесильное, ныне ниспровергнутое благоразумие продолжало глухо роптать, упрекая за эту затею. Шаги на дорожке замерли совсем рядом.

— Нечего глазеть! — стиснув зубы, приказал себе Люишем. И тут до его слуха донесся какой-то загадочный шум: ветки живой изгороди громко зашелестели, зашуршала старая листва. Кто-то словно бы топтался в кустах.

Любопытство подкралось к Люишему и после недолгой борьбы овладело им окончательно. Он оглянулся и увидел ее. Она стояла к нему спиной по ту сторону изгороди и старалась дотянуться до самой верхней цветущей ветки колючего терна. Какая счастливая случайность! Она его не видела!

В то же мгновение ноги Люишема перелетели через перелаз. Он спустился по ступенькам с такой стремительностью, что с разбегу угодил в колючий кустарник.

— Позвольте мне, — сказал он, слишком взволнованный, чтобы заметить, что его появление ее совсем не удивляет.

— Мистер Люишем! — воскликнула она с притворным изумлением и отступила в сторону, чтобы дать ему возможность сорвать цветок.

— Какую веточку вы хотите? — вскричал он, не помня себя от радости. — Самую белую? Самую большую? Любую!

— Вот эту, — наугад показала она, — с черным шипом.

Белоснежным облаком казались цветы на фоне апрельского неба, и Люишем, потянувшись за ними — достать их было не так-то легко, — со странным чувством удовлетворения увидел у себя на руке длинную царапину, сначала белую, а потом налившуюся красным.

— Там, на аллее, — сказал он, торжествующий и запыхавшийся, — есть терн... Этот с ним и сравниться не может.

Она засмеялась — он стоял перед ней, покрасневшийся, ликующий, — и посмотрела на него с нескрываемым одобрением. В церкви, на хорах, он снизу тоже казался недурен, но это было совсем другое.

— Покажите, где, — сказала она, хотя знала, что на милю в округе не найти другого куста терна.

— Я знал, что увижу вас, — проговорил он вместо ответа. — Я был уверен, что увижу вас сегодня.

— Это была почти последняя возможность, — так же искренне призналась она. — В понедельник я уезжаю домой, в Лондон.

— Я так и знал! — торжествующе воскликнул он. — В Клэпхем? —

спросил он.

— Да. Я получила место. Знаете, ведь я умею стенографировать и писать на машинке. Я только что окончила Грогрэмскую школу. И вот нашелся старый джентльмен, которому нужен личный секретарь, умеющий писать под диктовку.

— Значит, вы знаете стенографию? — спросил он. — Вот почему у вас было стилографическое перо. Эти строки написаны... Они до сих пор у меня.

Приподняв брови, она улыбнулась.

— Здесь, — добавил мистер Люишем, указывая рукой на свой нагрудный карман. — Эта аллея... — продолжал он; их разговор был удивительно несвязным... — Дальше по этой аллее, за холмом внизу есть калитка, которая идет... Я хотел сказать, от которой идет тропинка по берегу реки. Вы были там?

— Нет, — ответила она.

— Во всем Хортли нет лучше места для прогулки. А тропинка выводит к Иммерингу. Вы должны побывать там... до вашего отъезда.

— Сейчас? — спросила она, и в глазах ее запрыгали огоньки.

— А почему бы и нет?

— Я сказала миссис Фробишер, что к четырем буду дома, — ответила она.

— Такую прогулку жаль упускать.

— Хорошо, пойдемте, — согласилась она.

— На деревьях уже распускаются почки, — принялся рассказывать мистер Люишем, — камыш дал свежие побеги, и вдоль всего берега на воде плавают миллионы маленьких белых цветов. Я не знаю, как они называются, но уж очень они хороши... Разрешите, я понесу вашу веточку?

Когда он брал ветку, руки их на мгновение соприкоснулись... И опять наступило многозначительное молчание.

— Взгляните на эти облака, — снова заговорил Люишем, припоминая то, что собирался сказать, и помахивая пышно-белой веткой терна. — На голубое небо между ними.

— Восхитительно! Погода все время чудесная, но такого дня еще не было. Мой последний день. Самый последний день.

В таком возбужденном состоянии юная пара отправилась дальше, к неопишуемому изумлению миссис Фробишер, которая смотрела на них из окна мансарды, — а они шагали так, словно все великолепие сияющего мира существовало только для их удовольствия. Все, что они говорили друг другу в тот день на берегу реки: что весна прекрасна, молодые листочки



изумительны, чешуйчатые почки удивительны, а облака ослепительны в своем величии, — казалось им в высшей степени оригинальным. И как простодушно были они поражены тем, что их обоих одинаково восхищают все эти откровения! Уж конечно, не случайно, казалось им, встретились они Друг с другом.

Они шли по тропинке, что бежит между деревьев по берегу реки, и не успели пройти и трехсот ярдов, как спутница Люишема вдруг пожелала перебраться на нижнюю дорожку, у самой воды, по которой тянут лодки на бечеве. Люишему пришлось подыскать удобное для спуска место, где дерево по-дружески протягивало свои корни; и, держась за них, как за перила, она спустилась вниз, подав ему руку.

Потом водяная крыса, полоскавшая свою мордочку, предоставила им новый случай взяться за руки, доверчиво пошептаться и вместе помолчать, после чего Люишем попытался, можно сказать, с опасностью для жизни, сорвать для нее речной цветок и, сделав это, набрал полный ботинок воды. А у ворот подле черного и блестящего шлюза, где тропинка уходит в сторону от реки, спутница поразила его неожиданным подвигом, весело взобравшись с его помощью на верхнюю перекладину и спрыгнув вниз — легкая, грациозная фигурка.

Они смело пошли через луг, пестревший цветами, и по ее просьбе он загородил ее собою от трех благодушных коров, чувствуя себя при этом Персеем, вступившим в единоборство с морским чудовищем. Они миновали мельницу и по крутой тропинке вышли на Иммеринг. Здесь на лугу Люишем повел разговор о ее работе.

— Вы в самом деле уезжаете отсюда, чтобы стать секретаршей? — спросил он, и она принялась увлеченно рассказывать ему о себе.

Они обсуждали этот вопрос, пользуясь сравнительным методом, и не заметили, как скрылось солнце, пока их не захватили врасплох первые капли начавшегося ливня.

— Смотрите-ка! — показал он. — Вон сарай!

И они побежали.

Она бежала и смеялась, но бег ее был быстрым и легким. Он подсадил ее через изгородь, отцепил колючки с подола ее юбки, и они очутились в маленьком темном сарае, где хранилась огромная ржавая борона. Даже пробежав такое расстояние, заметил он, она не задохнулась.

Она присела на борону и, помедлив в нерешительности, сказала:

— Мне придется снять шляпу, не то она испортится от дождя.

И он смог любоваться тем, как непринужденно рассыпались ее локоны — впрочем, ему и так не приходило в голову сомневаться в их

подлинности. Она склонилась над своей шляпой, изящными движениями стирая носовым платком серебряные капли воды. Он стоял у входа в сарай и сквозь мягкую дымку апрельского ливня любовался пейзажем.

— На этой бороне и вам найдется место, — сказала она.

Он пробормотал какие-то невнятные слова, потом подошел и сел рядом с ней, так близко, что едва не касался ее. Он ощутил фантастическое желание обнять ее и поцеловать, и только усилием воли ему удалось его подавить.

— Я даже не знаю вашей фамилии, — сказал он, пытаясь в разговоре найти спасение от одолевавших его мыслей.

— Хендерсон, — ответила она.

— Мисс Хендерсон?

Глядя на него, она улыбнулась и, чуть помедлив, ответила:

— Да. Мисс Хендерсон.

Ее глаза, обаяние, исходившее от нее, были удивительны. Никогда прежде не испытывал он такого ощущения — странного смятения, в котором словно бы таился где-то слабый отзвук слез. Ему хотелось спросить, как ее зовут. Хотелось назвать ее «дорогая» и посмотреть, что она ответит. Вместо этого он пустился в бессвязное описание своего разговора с Боновером, когда он солгал насчет нее, назвав ее мисс Смит, и таким образом ему удалось преодолеть этот необъяснимый душевный кризис...

Замер шелест дождя, и лучи солнца вновь заиграли в далеких рощах за Иммерингом. Они опять молчали, и молчание это было чревато для мистера Люишема опасными мыслями. Он вдруг поднял руку и положил ее на раму бороны, почти касаясь плеч девушки.

— Пойдемте, — внезапно сказала она. — Дождь перестал.

— Эта тропка ведет прямо к Иммерингу, — заметил мистер Люишем.

— Но ведь в четыре...

Он достал часы, и брови его удивленно поднялись. Было почти четверть пятого.

— Уже больше четырех? — опросила она, и вдруг они почувствовали, что им вот-вот предстоит расстаться. То, что Люишем обязан был в половине шестого приступить к «дежурству», казалось ему обстоятельством крайне незначительным.

— Да, — ответил он, только сейчас начиная понимать, что означает разлука. — Но обязательно ли вам уходить? Мне... мне нужно поговорить с вами.

— А разве мы не говорили все это время?

— Это не то. Кроме того... Нет.

Она стояла, глядя на него.

— Я обещала быть дома к четырем, — сказала она. — Миссис Фробишер пьет чай...

— Но, может быть, нам никогда больше не доведется встретиться.

— Да?..

Люишем побледнел.

— Не уходите, — нарушая напряженное молчание, с неожиданной силой в голосе взмолился он. — Не уходите. Побудьте со мной еще немного... Вы... вы можете сказать, что заблудились.

— Вы, наверное, думаете, — возразила она с принужденным смешком, — что я могу не есть и не пить целый день?

— Мне хотелось поговорить с вами. С первого раза, как я увидел вас... Сначала я не осмеливался... Не надеялся, что вы позволите... А теперь, когда я так... счастлив, вы уходите.

Он вдруг замолчал. Ее глаза были опущены.

— Нет, — сказала она, выводя кривую носком своей туфли. — Нет. Я не ухожу.

Люишем едва удержался от радостного возгласа.

— Идемте в Иммеринг! — воскликнул он, и, когда они пошли узенькой тропкой по мокрой траве, он принялся с простодушной откровенностью объяснять ей, как ему дорого ее общество. — Я не променял бы этой возможности, — сказал он, оглядываясь в поисках предмета, который можно было бы принести в жертву, — ни на что на свете... Я не пойду на дежурство. Мне все равно. Мне все равно, чем это кончится, раз мы сегодня можем быть вместе.

— Мне тоже, — сказала она.

— Спасибо вам за то, что вы пошли со мной! — воскликнул он в порыве благодарности. — О, спасибо, что вы пошли! — И он протянул ей руку. Она взяла ее и пожала, и так шли они рука об руку, пока не дошли до деревни. Смелое решение пренебречь своими обязанностями — чем бы это потом ни грозило — удивительным образом сблизило их. — Я не могу называть вас мисс Хендерсон, — сказал он. — Не могу, вы же знаете. Вы знаете... Скажите мне, как вас зовут.

— Этель.

— Этель, — сказал он и, набравшись храбрости, взглянул на нее. — Этель, — повторил он. — Какое красивое имя! Но ни одно имя недостаточно красиво для вас, Этель... дорогая.

Маленькая лавочка в Иммеринге располагалась позади палисадника, засаженного желтофиолями. Ее владелица, веселая толстушка, решила, что

они брат с сестрой, и непременно хотела называть их обоих «дорогушами». Не встретив противоречия ни в том, ни в другом, она напоила их изумительно вкусным и удивительно дешевым чаем. Люишему не совсем пришлось по душе это второе качество, ибо оно, казалось, немного умаляло проявленную им смелость. Но чай, хлеб с маслом и черничное варенье были бесподобны. На столе в кувшине тоже стояли пахучие желтофиоли. Этель вслух восхищалась ими, и, когда они уходили, старушка хозяйка заставила ее принять в подарок целый букет.

Скандалной, собственно говоря, эта прогулка стала после того, как они покинули Иммеринг. Солнце, которое уже золотым шаром висело над синими холмами запада, превратило наших молодых людей в две пылающие фигурки, но вместо того чтобы пойти домой, они направились по Вентуортской дороге, что уходит в рощи Форшоу. А за их спиной над верхушками деревьев белым призрачным пятном проступила в сияем небе почти полная луна, постепенно впитывая в себя весь тот свет, который испускало заходящее солнце.

Выйдя из Иммеринга, они заговорили о будущем. А для совсем юных влюбленных не существует иного будущего, кроме ближайшего.

— Вы должны писать мне, — сказал он. Она ответила, что у нее получаются очень глупые письма. — А я буду исписывать целые стопы бумаги в письмах к вам, — пообещал он.

— Но как же вы будете мне писать? — спросила она, и они обсудили новое препятствие. Домой ей писать нельзя, ни в коем случае. В этом она совершенно уверена. — Моя мать... — начала было она и замолчала.

Это запрещение глубоко уязвило его, ибо в то время его особенно одолевала страсть к писанию писем. Что ж, этого следовало ожидать. Весь мир неблагоприятен, даже жесток к ним... «Блестящая изоляция» а deux<sup>[10]</sup>.

А не удастся ли ей подыскать место, куда можно будет посылать письма? Нет, так поступать нельзя: это обман.

Так гуляла эта молодая пара, счастливая обретенной любовью, но исполненная такой юношеской стыдливости, что слово «любовь» в тот день ни разу не сорвалось с их уст. И, однако, по мере продолжения разговора, во время которого ласковые сумерки все больше и больше сгущались вокруг, их речь и сердца совсем сблизилась. Тем не менее речи их, записанные хладнокровной рукой, выглядели бы столь убого, что я не берусь привести их здесь. Им же они вовсе не казались убогими.

Когда они по большой дороге возвращались в Хортли, молчаливые деревья были уже совсем черными, ее лицо в лунном свете — бледным и удивительно прекрасным, а глаза сияли, словно звезды. Веточка терна еще

была у нее в руках, но цветы почти все облетели. Желтофиоли же по-прежнему издавали пряный запах. А издали, приглушенная расстоянием, доносилась медленная, грустная мелодия — на площадке перед домом священника первый раз в сезоне играл городской оркестр. Не знаю, помнит ли читатель эту песенку, весьма популярную в начале восьмидесятих годов прошлого века:

Страна волшебных грез! Былые дни  
Хоть на мгновенье памяти верни (пам-пам) —

и в памяти вдруг воскресают былые, далекие дни...

Такой там был припев, звучавший протяжно и трогательно под аккомпанемент «пам-пам». Что-то жалостное, даже безнадежное слышалось в этом бодром «пам-пам», сопровождавшем заунывно-однообразный, похоронный напев. Но юность все воспринимает по-иному.

— Я обожаю музыку, — сказала она.

— Я тоже, — признался он.

Подымаясь по крутой Вест-стрит, они миновали металлическое и жесткое буйство звуков и вошли в полосу света от неярких желтых фонарей. Несколько человек заметили их и подивились, до чего нынче доходит молодежь, а один очевидец впоследствии даже назвал их поведение «бесстыдным». Мистер Люишем был в своей квадратной шапочке — не узнать его было нельзя. Проходя мимо школы, они увидели в раме окна за стеклом тусклый портрет мистера Боновера, который дежурил вместо своего сбившегося с истинного пути младшего учителя. У дома Фробишеров им волей-неволей пришлось расстаться.

— Прощайте, — сказал он в третий раз. — Прощайте, Этель.

Она медлила в нерешительности. Потом вдруг шагнула к нему. Он почувствовал ее руки на своих плечах, ее мягкие и теплые губы на своей щеке, и не успел он обнять ее, как она, скользнув, скрылась в тени дома.

— Прощайте, — донесся из мрака ее мелодичный, ласковый голос, и, пока он приходил в себя, дверь отворилась.

Он увидел ее черную фигурку в дверном проеме, услышал какие-то слова, затем дверь затворилась, и он остался один на залитой лунным светом улице. Щека его все еще горела от прикосновения ее губ...

Так закончился первый день любви мистера Люишема.

## 7. Расплата

А после дня любви наступили дни расплаты. Мистер Люишем был удивлен, даже ошеломлен тем счетом, что спокойно, но сурово был ему предъявлен. Восхитительные чувства, которые ему суждено было испытать в субботу, не покидали его и в воскресенье, и он даже помирился со своей «Программой», уговорив себя, что теперь Она будет его вдохновением и что ради Нее он станет работать в тысячу раз лучше, чем работал бы ради себя. Это, разумеется, не совсем соответствовало истине, ибо он заметил, что его перестало интересовать даже богословское исследование батлеровской «Аналогии». Ни на утренней, ни на вечерней службе Фробишеров в церкви не было. «Почему?» — лихорадочно думал он.

Понедельник выдался холодный и ясный — своего рода Герберт Спенсер<sup>[11]</sup> в ряду других дней, — и мистер Люишем отправился в школу, настойчиво убеждая себя, что опасаться ему нечего. Ученики, не живущие при школе, все утро о чем-то перешептывались — очевидно, о нем, — и Фробишер-второй был в центре внимания. Люишем услышал отрывок фразы.

— Мать пришла в бешенство, — говорил Фробишер-второй.

Разговор с Боновером состоялся в двенадцать, причем звуки гневной перепалки доносились до старшего учителя Данкерли даже сквозь затворенную дверь кабинета. А затем через учительскую, глядя прямо перед собой, с пылающими щеками прошел Люишем.

Поэтому Данкерли был уже внутренне подготовлен к той новости, какую ему довелось услышать на следующее утро во время проверки тетрадей.

— Когда? — спросил Данкерли.

— В конце следующего семестра, — ответил Люишем.

— Это из-за той девушки, что гостила у Фробишеров?

— Да.

— Она очень недурна. Однако это помешает в июне вашему зачислению в университет, — сказал Данкерли.

— Именно об этом я и жалею.

— Вряд ли можно ожидать, что он даст вам отпуск для сдачи экзаменов...

— Не даст, — отрезал Люишем и открыл первую тетрадь.

Ему трудно было говорить.

— Негодяй! — сказал Данкерли. — Но что вообще можно ожидать от даремца?

Поскольку Боновер был обладателем диплома только Даремского университета, то Данкерли, не имевший вообще никакого, склонен был относиться к директору скептически. Затем Данкерли принялся с сочувственно-деловым видом шуршать своими тетрадями. И только когда от целой кипы осталось две-три штуки, он искусно возобновил прерванный разговор.

— Господь сотворил мужчину и женщину, — сказал Данкерли, пробегая взглядом страницу и подчеркивая ошибки, — что (чик-чик) тяжким бременем (чик-чик) легло на учителей.

Он резко захлопнул тетрадь и бросил ее на пол за своим стулом.

— Вы счастливчик, — объявил он. — А я-то думал, что первым выберусь из этой отвратительной дыры. Вы счастливчик. Здесь все время нужно притворяться. На каждом углу натыкаешься на родителей или на опекунов. Вот почему я ненавижу жизнь в провинции. Она чертовски противостоит естественна. Придется и мне всерьез подумать о том, как бы выбраться отсюда поскорее. Я выберусь, будьте спокойны!

— И пустите в ход свои патенты?

— Обязательно, мой мальчик. Пущу в ход свои патенты. Патентованная бутылка с квадратной пробкой! О боже! Дайте мне только очутиться в Лондоне...

— Я тоже, наверное, попытаю удачи в Лондоне, — сказал Люишем.

И тогда многоопытный Данкерли, добрейший из людей, позабыв о собственных честолюбивых замыслах — он лелеял мечту получить патенты на удивительные изобретения, — принялся размышлять о возможностях для своего молодого коллеги. Он начал с того, что дал ему список агентств, этих незаменимых помощников молодого учителя — Ореллана, Габбитас, Ланкастер-Гейт. Все они были ему отлично известны, он ведь восемь лет проболтался в положении «начинающего».

— Конечно, быть может, дело с Кенсингтоном и выгорит, — рассуждал Данкерли, — но лучше не ждать. Скажу вам откровенно: шансов у вас мало.

«Кенсингтонским делом» он называл заявление с просьбой о приеме, которое Люишем однажды в минуту надежды послал в Южно-Кенсингтонскую Нормальную школу естественных наук. Поскольку в Англии ощущается недостаток в квалифицированных учителях, Южно-Кенсингтонский факультет Наук и Искусства имеет обыкновение предоставлять возможность бесплатного обучения в своем самом большом

центральной колледже да еще стипендию — гинею в неделю — лучшим молодым педагогам, которые берут на себя обязательство после окончания курса заняться преподаванием естественных наук. Данкерли уже несколько лет подряд слал туда заявления — и все напрасно, и Люишем не видел ничего предосудительного в том, чтобы последовать его примеру и тоже попытать удачи. К тому же у Данкерли не было таких голубовато-зеленых аттестатов с отличием, как у него.

На следующий день все оставшееся после «дежурства» время Люишем использовал на составление письма, которое нужно было размножить в нескольких экземплярах и разослать в различные агентства по найму учителей. В письме он коротко и выразительно излагал свою биографию, но зато был весьма многословен в описании собственной организованности и методов преподавания. В конце прилагался длинный и цветистый перечень всех его аттестатов и наград, начиная с полученного в восьмилетнем возрасте похвального листа, за примерное поведение. Для переписки всех этих документов потребовалось немало времени, но Надежда окрыляла его. После длительного размышления над своим расписанием он выделил днем один час для «корреспонденции».

Он обнаружил, что несколько отстал в своих занятиях по математике и классическим языкам, а контрольная работа, отправленная его заочному наставнику в те тревожные дни, которые последовали за встречей с Боновером на аллее, вернулась с малоутешительной оценкой: «Выполнено неудовлетворительно». Ничего подобного с ним прежде не случалось, поэтому он пришел в такое раздражение, что некоторое время даже подумывал, не ответить ли наставнику язвительным письмом. А потом наступили пасхальные каникулы, и ему пришлось ехать домой и объявить матери, разумеется, без лишних подробностей, что он покидает Хортли.

— Но ведь у тебя там так хорошо все складывалось! — всплеснула руками его мать.

Одно утешало добрую старушку: сын перестал носить очки — он даже забыл привезти их с собой, — и ее тайные страхи, что он «скрывает» от нее какое-то серьезное заболевание глаз, рассеялись.

Иногда у него бывали минуты горького раскаяния в той безрассудной прогулке. Такое настроение испытал он вскоре после каникул, когда ему пришлось сесть и пересмотреть сроки, намеченные в «Программе», и он впервые с ясностью осознал, чем, в сущности, кончилась для него эта первая схватка с теми загадочными и могучими силами, что пробуждаются с наступлением весны. Его мечты об успехе и славе казались ему вполне реальными, они были дороги его сердцу, и вот теперь, когда он понял, что



долгожданная дверь университета, открывающая путь ко всему великому, пока еще для него затворена, он вдруг ощутил нечто похожее на физическую боль в груди.

В самый разгар работы он вскочил и с пером в руках стал шагать по комнате.

— Какой я был дурак! — вскричал он. — Какой я был дурак!

Он швырнул перо на пол и подбежал к стене, где красовался весьма неумелый рисунок девичьей головки — живой свидетель его порабощения. Он сорвал рисунок и разбросал клочья по полу...

— Дурак!

И сразу ему стало легче: он дал выход своему чувству. Секунду он взирал на произведенное им разрушение, а затем, что-то бормоча о «глупых сантиментах», снова уселся пересматривать свое расписание.

Такое настроение у него бывало. Но редко. Вообще же письма с ее адресом он ждал с куда большим нетерпением, чем ответа на те многочисленные прошения, писание которых оттеснило теперь на задний план Горация и высшую математику (как у него именовалась стереометрия). На обдумывание письма к Этель у него уходило еще больше времени, чем потребовалось когда-то на составление достопримечательного перечня его академических достоинств.

Правда, его прошения были документами необыкновенными; каждое из них было писано новым пером и почерком — по крайней мере на первой странице, — превосходившим даже те образцы каллиграфии, которыми он блистал обычно. Но дни шли, а письмо, которое он надеялся получить, так и не приходило.

Настроение его осложнялось еще и тем, что, несмотря на упорное молчание, причина его отставки в разительном коротком сроке стала известна «всему Хортли». Он, как рассказывали, оказался человеком «фривольным», а поведение Этель местные дамы порицали, если можно так выразиться, с самодовольным торжеством. Смазливое личико так часто бывает ловушкой. А один мальчишка — за это ему как следует надрали уши, — когда Люишем проходил мимо, громко крикнул: «Этель!» Помощник приходского священника, из породы людей бледных, нервных, с распухшими суставами, теперь, встречаясь с Люишем, старался не замечать его. Миссис Боновер не упустила случая сказать ему, что он «совсем еще мальчик», а миссис Фробишер, столкнувшись с ним на улице, так грозно засопела, что он вздрогнул от неожиданности.

Это всеобщее осуждение порой приводило его в уныние, но иногда, наоборот, оно даже вселяло в него бодрость, и не раз он объявлял

Данкерли, что ему это все совершенно нипочем. А иногда он убеждал себя, что терпит все это ради Нее. Впрочем, ничего другого ему и не оставалось.

Он начал также понимать, как мало нуждается мир в услугах девятнадцатилетнего юноши, — он считал себя девятнадцатилетним, хотя в действительности ему было восемнадцать лет и несколько месяцев, — несмотря на то, что вдобавок к своей молодости, силе и энергии он является обладателем наград за примерное поведение, за общее развитие и за успехи в арифметике, а также отличных аттестатов на бумаге с королевским гербом за подписью известного инженера, подтверждающих его познания в черчении, мореходной астрономии, физиологии животных, физиографии, неорганической химии и сооружении зданий. Сначала ему казалось, что директора школ будут цепляться за возможность воспользоваться его талантами, но выяснилось, что цепляться суждено ему. В его письмах с предложением услуг появилась теперь нотка настойчивости, но настойчивость ему не помогала. А письма эти становились все длиннее и длиннее, они разрослись до четырех страниц — на целое пенни бумаги. «Уверяю вас, — писал он, — что во мне вы найдете верного и преданного помощника». И так далее в таком духе. Данкерли указал ему на то, что аттестация, выданная Боновером, явно обходит вопрос о нравственности и дисциплине, но Боновер отказался что-либо изменить. Он, разумеется, был готов сделать для Люиша все, что в его силах, несмотря на столь неделикатное к нему отношение молодого человека, но, увы, его совесть...

Раза два-три Люишем намеренно искажил текст аттестации, но и это ничего не дало. И Южно-Кенсингтонская школа молчала, хотя прошла уже половина мая. Будущее рисовалось Люишему в весьма мрачных красках.

И вот в самый разгар сомнений и разочарований пришло письмо от нее. Оно было напечатано на машинке на тонкой бумаге. «Дорогой», — писала она, и это обращение показалось ему самым ласковым и самым чудесным из всех обращений на свете, хотя в действительности-то она просто забыла, как его зовут, а потом забыла, что оставила место, куда хотела вставить его имя.

«Дорогой!

Я не могла написать раньше, потому что дома мне теперь негде написать письмо, так как миссис Фробишер рассказала моей матери о вас разные глупости. Моя мать ужасно удивила меня — я никак не ожидала этого от нее. Она ничего мне не сказала. Но об этом я напишу вам в следующий раз. Я слишком

сердита, чтобы писать об этом сейчас. Даже теперь вы не можете мне ответить, потому что сюда нельзя посылать писем. Это совершенно невозможно. Но я вспоминаю вас, дорогой (слово «дорогой» было стерто и снова написано), и нашу чудесную прогулку и хочу сказать вам об этом, даже если это письмо окажется последним. Я сейчас очень занята. Работа у меня довольно сложная, и, боюсь, я немного бестолкова. Трудно, не правда ли, с интересом относиться к чему-либо только оттого, что это дает средства на жизнь? Вероятно, порой вы испытываете то же самое у себя в школе? Но уж, видно, все люди должны заниматься не тем, что им по душе. Не знаю, когда я вновь окажусь в Хортли и окажусь ли вообще, но вы, наверное, сами приедете в Лондон. Миссис Фробишер наговорила самые ужасные вещи. Было бы чудесно, если бы вы приехали в Лондон, потому что тогда мы, возможно, сумели бы повидаться. В Челси есть большая школа для мальчиков, и каждое утро, когда я прохожу мимо нее, я думаю о том, как хорошо было бы, если бы вы там работали. Тогда вы выходили бы мне навстречу в своей шапочке и мантии. А вдруг в один прекрасный день я увижу вас там!»

Вот таким было это письмо, содержащее в себе удивительно мало сведений и неожиданно обрывавшееся дописанными карандашом словами: «Прощайте, дорогой. Прощайте, дорогой». А внизу: «Вспоминайте обо мне иногда».

Читая его, в особенности это обращение «дорогой» в начале, Люишем испытывал самое странное ощущение в горле и груди, как будто он вот-вот заплачет. Поэтому он поспешил рассмеяться, еще раз перечитал письмо и с сияющими глазами зашагал взад и вперед по комнатке, не выпуская из рук драгоценного послания. Слово «дорогой» звучало так, как будто его произносила она, — ему даже показалось, что он слышит ее голос. Припомнилось ее мелодичное и ласковое «прощайте» из тени залитого лунным светом дома.

Но почему «это письмо окажется последним» и почему такой неожиданный конец? Разумеется, он будет вспоминать ее.

Это письмо оказалось единственным. Вскоре оно протерлось на сгибах.

В начале июня Люишем почувствовал себя особенно одиноко, у него вдруг возникло жгучее желание видеть ее. Он стал робко мечтать о поездке

в Лондон, в Клэпхем, чтобы разыскать ее. Но Клэпхем не Хортли, и отыскать там человека не так-то просто. Он провел целый день, сочиняя и переписывая длинное послание к ней на случай, если узнает ее адрес. Если ему суждено узнать его. Безутешный, он долго бродил по улицам, пока, наконец, в семь часов вечера не отправился в ярком свете луны за город по следам их незабываемой прогулки.

В темноте сарая, где они когда-то пережидали дождь, он разошелся до того, что начал говорить вслух, как будто она была рядом. И произносил он красивые, мужественные слова.

В окне дома у маленькой старушки с желтофиолями горела свеча; он зашел и, словно священнодействуя, выпил бутылку имбирного пива. Старушка чуть лукаво поинтересовалась, как поживает его сестра, и он пообещал когда-нибудь вновь привести ее. Этот разговор немного притулил терзавшее его чувство одиночества. Он вышел в белеющий сумрак и отправился домой, испытывая тихую грусть, такую нежную, что она стала почти приятной.

А на следующий день миссис Манди с недоумением увидела в его комнате новую надпись, одновременно и загадочную и знакомую: «Mizpah»<sup>[12]</sup>.

Слово было тщательно выписано староанглийскими буквами.

Где она прежде его видела?

Сначала оно господствовало над всем остальным в комнате, как знамя победы развеваясь над его «самодисциплиной», над расписанием, над «Программой». Затем на какое-то время оно исчезло, но вскоре появилось вновь. Потом его частично заслонил список школ, где имелись вакансии, а на полях листа бумаги, на котором оно красовалось, появились какие-то карандашные пометки.

Когда же наконец наступило время сборов и отъезда Люишема из Хортли, он снял его и вместе с другими подходящими бумагами — среди них оказались «Программа» и расписание — использовал, чтобы застлать дно желтого ящика, в который он запаковал свои книги; в основном это были книги, предназначенные для подготовки к теперь отложенным вступительным экзаменам.

## 8. Карьера торжествует

Прошло два с половиной года, и повествование свое мы поведем о значительно повзрослевшем мистере Люишеме, уже не юноше, а мужчине, мужчине, во всяком случае с точки зрения закона, ибо ему исполнился двадцать один год. Местом же действия будет не маленький Хортли с его деревьями, парками, красно-коричневыми берегами реки и общественными выпасами, а серые просторы лондонского Вест-Энда.

Об Этель речи и вовсе не будет. Обещанное ею второе письмо он так и не получил, и, хотя в первые несколько месяцев пребывания в Лондоне посвятил не один день скитаниям по Клэпхему, этой бесплодной пустыне человеческой, встреча, о которой он мечтал, так и не состоялась. Наконец молодость с ее восхитительной способностью к возрождению духа и тела взяла свое, и он начал ее забывать.

Поиски «места» неожиданно принесли плоды в виде листка синей бумаги, о которой так мечтал Данкерли. Оказалось, что голубовато-зеленые дипломы годились не только в качестве украшений на стену, и, когда Люишем уже потерял надежду на получение работы до конца дней своих, от Педагогического факультета пришла чудодейственная синяя бумага, сулившая нечто совершенно невероятное. Его приглашали в Лондон, где он должен был получать гинейю в неделю за слушание лекций, таких лекций, которые превосходили самые честолобивые его мечты! Среди имен, плывущих у него перед глазами, он разглядел Хаксли — Хаксли, а потом Локайера! Какая удача! Приходится ли после этого удивляться, что в течение трех последующих лет все мысли его были заняты только карьерой?

Представьте себе мистера Люишема на пути в Нормальную школу естественных наук в начале третьего года обучения. (Теперь это заведение называют Королевским колледжем естественных наук.) В правой руке у него блестящий черный портфель, набитый тетрадями, конспектами и другими принадлежностями для предстоящих занятий, а в левой — книга, которой не хватило места в портфеле, книга с золотым обрезом, аккуратно обернутая в коричневую бумагу.

Пропущенные нами годы не прошли бесследно; на верхней губе мистера Люишема появились не слишком приметные, но бесспорные усы, рост прибавился еще на один-два дюйма, свободнее стали манеры. Ибо теперь он перестал быть, как в восемнадцать лет, предметом всеобщего

внимания; он начал понимать, что значительное число людей с полным безразличием относится к факту его существования. Он утратил былую застенчивость, зато приобрел уверенность в осанке, как человек, которому неплохо живется на свете.

Его костюм — за одним исключением — выдавший виды и «порыжевший» траур. Он носил траур по матери, умершей более чем за год до возобновления нашего рассказа; она оставила ему имущество, которое в деньгах равнялось почти ста фунтам, и он ревниво хранил их в банке, расходуя только на самое необходимое: на плату за право учения в университете, на книги и на другие принадлежности, которые требовались для его блестящей студенческой карьеры. Ибо, несмотря на неудачу в Хортли, он все же делал блестящую карьеру и, как всеядное пламя, пожирал дипломы один за другим.

При взгляде на него, сударыня, вы непременно примечали бы его воротничок с удивительно глянцевиной поверхностью, похожей на мокрую резину. И хотя, в сущности, это не имеет никакого отношения к нашему рассказу, я знаю, что должен объяснить, в чем тут дело, иначе вы будете невнимательны к моему дальнейшему повествованию. Есть в Лондоне тайны, но откуда этот странный глянец на белье? «Дешевые прачки всегда пересинивают вещи, — утверждаете вы. — Его воротничок должен быть в синих потеках, потертый на сгибе, с бахромой вокруг петли и будет врезаться в шею. Но этот глянец...» Приглядитесь поближе и дотроньтесь пальцем — он холодный и влажный, как стена склепа! Дело в том, сударыня, что это патентованный непромокаемый воротничок. Перед сном его нужно потереть зубной щеткой и повесить для просушки на спинку стула, и утром он как новенький. Это был его единственный воротничок, на нем он сэкономил в неделю по крайней мере три пенса, что для будущего педагога, состоящего на обучении в Южно-Кенсингтонской школе и существующего на гинее в неделю, жалованную ему по-отечески заботливым, но скупым правительством, составляет значительную сумму. Этот воротничок явился для Люиша великим открытием. Он увидел его в витрине магазина: воротничок лежал на дне стеклянного аквариума, и над ним тоскливо металась золотая рыбка. Люиш сказал себе, что ему, пожалуй, по душе этот глянец.

Но вот ярко-красный галстук у него на шее — это вещь неожиданная. Ярко-красный галстук, какой носят кондукторы Юго-Западной железной дороги! Больше ничего щегольского в его облике не было, даже тешившие его тщеславие очки были давным-давно заброшены. Задумаешься, пожалуй... Где вы видели толпу людей в красных галстуках, которые как

будто что-то символизируют? Придется сказать правду. Мистер Люишем стал социалистом!

Этот красный галстук был единственным внешним и видимым знаком его внутреннего, духовного развития. Несмотря на большую учебную нагрузку, Люишем к этому времени одолел и Батлеровскую «Аналогию» и некоторые другие книги; он возражал, сомневался, в ночной тиши взывал к богу, моля его о «вере» — «вере», которую следовало даровать немедленно, если небо ценит преданность мистера Люишема, и которая тем не менее так и не была дарована... Теперь свою судьбу на этом свете он не представлял себе больше в виде длинного ряда экзаменов, ведущего к далекой адвокатуре и политической деятельности «в либеральном духе» (D.V.)<sup>[13]</sup>. Он начал понимать некоторые стороны наших социальных порядков, которые в Хортли не бросались в глаза; познакомился с тем гнетущим чувством тоски, полного отчаяния и муки, которые окрашивают жизнь столь многих обывателей современного Лондона. Один яркий контраст как символ навсегда запомнился ему. Он видел бастующих угольщиков во дворах Вестборнского предместья, изможденных и голодных, детей, из черной грязи моливших о милостыне, безработных в очереди за бесплатным супом; а двумя улицами дальше, на Вестборн Гроув, — сверкающие вывески переполненных магазинов, непрерывный поток кэбов и карет и такое бурное расточительство, что торопившийся домой усталый студент в мокрых ботинках и мешковатом костюме то и дело застревал в ароматном вихре юбок и жакетов и элегантной нарядной женственности. Несомненно, что неприятные ощущения, которые испытал в ту минуту усталый студент, привели его к определенным выводам. А ведь это лишь одно из постоянно повторяющихся наглядных сопоставлений.

Люишем был искренне убежден или, если угодно, просто чувствовал, что человек не может быть счастлив, когда другой, рядом, несчастен, и этот крикливый блеск благополучия казался ему преступлением. Он тогда еще верил, что люди сами решают свою судьбу, — всю меру моральной тупости людской, в том числе и своей собственной, ему еще предстояло осознать. Как раз тогда ему случайно попались в руки «Прогресс и нищета»<sup>[14]</sup> и несколько разрозненных номеров «Общего благосостояния»<sup>[15]</sup>, и он без особого труда усвоил теорию о коварных происках капиталистов и помещиков и справедливых требованиях безвинных страдальцев-рабочих. Он немедленно стал социалистом. Естественно, у него тотчас явилась настоятельная потребность каким-то образом оповестить весь мир о своей новой вере. Поэтому он вышел из дому и (исторический момент!) купил

себе тот самый красный галстук!

— Цвета крови, пожалуйста, — робко сказал Люишем молодой леди, что стояла за прилавком.

— Какого цвета? — насмешливо переспросила молодая леди за прилавком.

— Ярко-алого, пожалуйста, — вспыхнув, ответил Люишем.

И он потратил большую часть вечера и немало терпения на то, чтобы научиться завязывать этот галстук аккуратным бантом. Подобное занятие было ему в новинку: до сих пор он носил галстуки с уже готовым узлом.

Так Люишем провозгласил Социальную Революцию. Когда этот символ на шее у его владельца впервые покинул стены дома, по Бромтон-роуд шествовала орава дюжих полисменов. Люишем направился им навстречу. Он начал напевать. Приняв многозначительный вид, он прошел мимо полисменов с «Марсельезой» на устах...

Но с тех пор миновало уже несколько месяцев, и теперь красный галстук был просто привычным предметом туалета.

Он свернул с Эгсибишн-роуд в железные решетчатые ворота и вошел в вестибюль Нормальной школы. В вестибюле было полно студентов с книгами, портфелями и ящичками для инструментов в руках, студентов, которые стояли и разговаривали, студентов, которые читали вставленные в рамки объявления Дискуссионного клуба, студентов, которые покупали у продавца канцелярских принадлежностей тетради, карандаши, резинки и кнопки. Тут можно было видеть и новичков — студентов, платящих за свое обучение, юношей и молодых людей в черных сюртуках и цилиндрах или костюмах из твида, и бывалых школяров — однокурсников Люишема, разномастных, нескладных, жалких, плохо одетых и охваченных благоговейным страхом; на одном Люишем заметил морскую фуражку с золотым галуном, другой явился в митенках, а третий — в элегантных серых лайковых перчатках. Тут же в толпе крутился Граммет — бессменный библиотекарь.

— Der Zozalist!<sup>[16]</sup> — сострил кто-то.

Люишем сделал вид, будто не слышит, но краска разлилась у него по лицу. Хорошо бы отучиться от этой привычки краснеть, ведь ему уже двадцать один год. Он старательно не глядел на доску объявлений Дискуссионного клуба, которая извещала, что в следующую пятницу состоится доклад «Д.Э.Люишем о социализме», и пробирался через вестибюль туда, где должен был расписаться в книге прихода и ухода. Но его окликнули, потом еще раз. На какое-то время его задержали рукопожатия и неуклюжие дружеские шуточки его «коллег».



Один из студентов указал на него своему земляку — первокурснику:

— Эта скотина Люишем — ужасный зубрила. В прошлом году он был вторым. Долбит изо всех сил. Но все эти зубрилы — страшно ограниченные люди. Экзамены, Дискуссионный клуб, снова экзамены. Они, наверное, и слыхом не слыхали, как живут люди. За целый год и близко-то к мюзик-холлу не подойдут.

Люишем услышал пронзительный свист, бросился к лифту и успел вскочить в кабину перед самым отправлением. Света в кабине не было, но зато полно черных теней; различить можно было только лифтера. Пока Люишем вглядывался в смутно белеющие перед ним лица, пытаясь догадаться, кто стоит рядом, женский голос назвал его имя.

— Это вы, мисс Хейдингер? — спросил он. — Я вас не разглядел. Надеюсь, вы хорошо провели каникулы?

## 9. Элис Хейдингер

Когда лифт остановился на верхнем этаже, Люишем отступил в сторону, чтобы дать возможность выйти из кабины последнему оставшемуся там пассажиру. Это и была та самая мисс Хейдингер, которая окликнула его, она же владелица обернутой в коричневую бумагу книги с золотым обрезом. Больше никто не поднялся вверх. Все остальные пассажиры вышли на «астрономическом» и «химическом» этажах, лишь двое наших героев выбрали на третий год обучения курс зоологии, а зоология размещалась в чердачном помещении. Они вышли из кабины на свет, и ее щеки залил непривычный румянец. Люишем обратил внимание и на перемену в ее туалете. Впрочем, она, вероятно, и ожидала увидеть мелькнувшее на его лице удивление.

На предыдущем курсе — их дружба длилась уже почти год — Люишему и в голову не приходило, что она может быть хорошенькой. Во время каникул он более или менее отчетливо помнил о ней лишь одно: волосы ее не всегда бывали аккуратно причесаны, и даже когда они были в порядке, она все равно беспокоилась о своей прическе: она не доверяла своим волосам. Он запомнил, как, разговаривая, она то и дело ощупывает их и приглаживает — очень неприятная привычка. Мог бы он сказать и какого цвета они у нее: в общем, довольно светлые, каштановые. Но вот какой у нее рот, он позабыл, забыл, и какие у нее глаза. Она, правда, носила очки. И платье ее ему не запомнилось — какое-то бесцветное и бесформенное.

А между тем они часто виделись. Сначала они слушали разные курсы и познакомились на заседании Дискуссионного клуба. Люишем тогда только открывал для себя социализм. Это послужило поводом для беседы, началом дружбы. Она, видимо, заинтересовалась его своеобразным взглядом на вещи, и по воле случая он частенько встречал ее в коридорах школы, в залах Педагогической библиотеки и в Музее искусств. Спустя некоторое время встречи эти перестали казаться случайными.

Впервые в жизни Люишем вообразил, что одарен талантом красноречия. Она решила подогреть его честолюбие — задача не из трудных. Она нашла, что у него исключительные способности и что она сумеет направлять их; в действительности ей удалось лишь разжечь его тщеславие. Она тоже числилась при Лондонском университете, и в июле они вместе держали переходный экзамен по естественным наукам — с ее

стороны это был не совсем разумный шаг, — что послужило, как и всегда в подобных случаях, к их дальнейшему сближению. Она провалилась на экзамене, что, впрочем, никоим образом не уменьшило уважения к ней Люишема. В дни экзаменов они беседовали о дружбе вообще и прочих вещах, прогуливаясь во время перерыва по Берлингтонскому пассажи, а Берлингтонский пассаж откровенно потешался над ее ученой невзрачностью и его красным галстуком, и среди прочего она упрекнула его за то, что он не читает стихов. После окончания экзаменов, расставаясь на Пикадилли, они обещали во время каникул писать друг другу о поэзии и о себе, и она, чуть поколебавшись, одолжила ему томик стихов Россетти<sup>[17]</sup>. Он начал уже забывать то, что с первого раза было ему вполне очевидно, а именно: что она старше его на три-четыре года.

Люишем провел каникулы в обществе своего не очень-то любезного, но доброго дядюшки, который был водопроводчиком и плотником. Дядюшка имел шестерых детей, старшему исполнилось одиннадцать; Люишем старался понравиться детям, но в то же время не забывал о своем педагогическом призвании. Кроме того, он усиленно готовился к третьему, заключительному году занятий (в течение которого задался целью свершить нечто великое) и сверх всего освоил еще искусство езды на велосипеде. Думал он и о мисс Хейдингер, и она, как можно судить, думала о нем.

Он спорил на социальные темы со своим дядюшкой, первым местным консерватором. Дискуссионные приемы его дядюшки были чрезвычайно вульгарны. Все социалисты, заявлял он, — воры. Их цель — забрать у человека то, что он заработал, и отдать это «наглым лентяям». А без богачей не обойтись, утверждал он.

— Не будь людей состоятельных, откуда бы я, по-твоему, мог добыть себе пропитание? А? И где ты был бы тогда?

Социализм, убеждал его дядюшка, придумали агитаторы. Они тянут деньги из подобных ему юнцов и тратят их на шампанское.

После этого разговора на все доводы мистера Люишема он отвечал одним словом: «Шампанское!» — и с издевательским смаком тянул губами воздух.

Люишем, естественно, чувствовал себя немного одиноко, что, возможно, он несколько подчеркивал в своих письмах к мисс Хейдингер. Выяснилось, что она тоже довольно одинока. Они обсудили вопрос об истинной дружбе в отличие от дружбы обыкновенной, а от него перешли к Гете и его «Родственным натурам». Он сообщил, что с нетерпением ждет ее писем, и они стали приходить чаще. Письма ее были, бесспорно, хорошо

написаны. Будь он журналистом и знай людей лучше, он бы понял, что на сочинение каждого такого письма уходит целый день. После расспросов практичного водопроводчика о том, что он намерен делать со своей никчемной наукой, перечитывание ее писем было бальзамом для души. Ему понравился Россетти — изысканное ощущение разлуки в «Небесной подруге» тронуло его. Но в целом он был немного удивлен поэтическим вкусом мисс Хейдингер. Россетти писал так витиевато, так цветисто! Он совсем этого не ожидал.

А в общем, он вернулся в Лондон, несомненно, более заинтересованный ею, чем когда они расставались. И смутное воспоминание о ее внешности как о чем-то странно небрежном и неряшливом исчезло, как только она вышла на свет из кабины лифта. Прическа ее была в порядке, а когда луч света скользнул по ее волосам, они показались ему даже красивыми; одета она была в хорошо сшитое темно-зеленое с черным платье, падавшее по моде тех дней свободными складками; его темный тон придавал ее лицу нежный оттенок, которого ей недоставало. Шляпа ее тоже отличалась от бесформенных головных уборов прошлого года; женский взгляд тотчас заметил бы, что она подобрана к лицу и к платью. Шляпа ей шла, но эти подробности уже вне компетенции мужчины-романиста.

— Я принес вашу книгу, мисс Хейдингер, — сказал он.

— Я очень рада, что вы наконец подготовили реферат о социализме, — ответила она, беря у него обернутый в коричневую бумагу том.

Бок о бок они прошли маленьким коридором к биологической лаборатории, и она остановилась возле вешалки, чтобы снять шляпу. В Школе царили такие «ужасные» порядки: студентке приходилось у всех на виду снимать шляпу и у всех на виду надевать полотняный фартук, который должен предохранять ее платье на время работы в лаборатории. Даже нет зеркала!

— Я приду послушать ваш доклад, — сказала она.

— Надеюсь, он вам понравится, — отозвался Люишем уже в дверях лаборатории.

— Во время каникул я продолжала собирать доказательства существования духов, — помните наши споры? Хотя и не писала вам об этом в письмах.

— Жаль, что вы все продолжаете упорствовать, — сказал Люишем. — А я-то думал, что вы уже с этим покончили.

— Вы читали «Взгляд назад»? [\[18\]](#)

— Нет, но очень бы хотел.

— Эта книга у меня с собой. Если хотите, я вам ее одолжу. Дайте только добраться до моего стола. У меня руки заняты.

Они вошли в лабораторию вместе, причем Люишем галантно распахнул перед ней дверь, а мисс Хейдингер на всякий случай поправила волосы. Возле двери стояли четыре студентки, к которым присоединилась и мисс Хейдингер, стараясь как можно незаметнее держать книгу в коричневой обертке. Трое из них учились вместе с ней и на предыдущих двух курсах, а потому, здороваясь, назвали ее по имени. Они уже успели обменяться многозначительными взглядами при ее появлении в обществе Люишема.

Угрюмый почтенного вида молодой ассистент при виде Люишема тотчас просветлел.

— Ну, один приличный студент у нас уже есть, — заметил этот угрюмый почтенного вида молодой ассистент, который, очевидно, вел учет проходящих, и снова просветлел, увидев нового студента: — А вот и Смизерс.

## 10. В галерее старинного литья

КогдаходишьсБромтон-роудвЮжно-Кенсингтонскиймузейискусств, галереястаринноголитьянаходитсякакразнадвестибюлемсправа, но дорогатудачрезвычайнопутаная, даипоказываютеедалеконекаждому, посколькупостигающиетамнаукииискусствамолодыелюдиревнивоохраняютуединенностьэтойгалереи. Длинная, узкаяи темная, галереявсязаполненажелезнымирешетками, кованымисундуками, замками, щеколдами, засовами, чудовищноогромнымиключамиитомуподобнымивещами, но зато, перегнувшисьчерезбалюстраду, тамможновестибеседыо возвышенныхчувствах и любоватьсямикеланджеловскимрогатымМоисеем или Траяновой колонной (в гипсе), котораявздываетсяизнижнегозалаи уходитвышегалереиподсамуюкрышу. ИменноздесьоказалисьЛюишем и миссХейдингерподвечервсреду, после того, какбылпрочитандокладосоциализме, о которомоповещаластудентовдоскаобъявленийпри входе.

Доклад, весьмаубедительныйи прочитанныйсосдержаннымволнением, имелогромныйуспех. ГрозныйСмизерсбылпрактическиобращен, а ответынавопросывовремяобсуждениядокладаотличалисьметодичностьюи обстоятельностью, хотяудокладчика, возможно, инаблюдалисьнекоторыесимптомылихорадочноговозбуждения, прокотороевпростонародьеговорят: «Вголовуударило».

РазглядываяМоисея, Люишемразглагольствовалосвоембудущем. МиссХейдингербольшейчастьюсмотрелаемувлицо.

— Апотом? —спросиламиссХейдингер.

— Необходимоширокопропагандироватьэтивзглядывнароде. Япопрежнемуверювпамфлеты. Ядумал... — ТутЛюишемзамолчал, надонадеяться, изскромности.

— Очем? —вопросительноотозваласьмиссХейдингер.

— ЯдумалоЛютере. Мнекажется, социализмунуженновыйЛютер.

— Да, —подтвердиламиссХейдингер, обдумываяегомысль. — Да. Этобылобывеликоедело.

Втедни такказалосьмногим. Но вотужебольшесемилетвыдающиесяреформаторыходятвокругстенсоциальногоИерихона, дуютвсвоитрубыикричат, а толкуотвсегоэтого, не считаявспышекзлостизастенамиграда, такнемного, чтотрудновернутьтеперьрадужныенадеждытехушедшихдней.

— Да, — повторила мисс Хейдингер. — Это было бы великое дело.

Люишем почувствовал в ее голосе волнение. Он посмотрел ей в лицо и прочел нескрываемое восхищение в ее глазах.

— Это было бы подвигом, — сказал он и скромно добавил: — Если бы только удалось его осуществить.

— Вы могли бы это сделать.

— Вы так думаете?

Люишем вспыхнул от удовольствия.

— Да. Во всяком случае, вы могли бы начать это дело. Даже полная неудача и то будет подвигом. Бывают случаи...

Она остановилась в нерешительности. Он весь превратился в слух.

— По-моему, бывают случаи, когда неудача — еще больший подвиг, нежели успех.

— Не знаю, — ответил будущий Лютер, и взгляд его вновь обратился к Моисею.

Она хотела еще что-то сказать, но раздумала. Они молчали, размышляя.

— А что будет потом, когда людям станут известны ваши взгляды? — наконец спросила она.

— Тогда, мне кажется, мы должны будем образовать партию и... осуществить задуманное.

Снова молчание, полное, без сомнения, возвышенных дум.

— Знаете, — вдруг сказал Люишем, — у вас есть умение вселить в человека бодрость. Если бы не вы, я бы никогда не сумел написать этот реферат о социализме. — Он повернулся и, стоя спиной к Моисею, улыбнулся ей. — Да, вы умеете помочь человеку.

То был один из самых значительных моментов в жизни мисс Хейдингер. Краска сбежала с ее лица.

— Правда? — переспросила она, неловко выпрямившись и глядя ему в лицо. — Я очень... рада.

— Я еще не поблагодарил вас за письма, — сказал Люишем. — И я думаю...

— Да?

— Мы настоящие друзья, правда? Лучшие из лучших.

Она протянула ему руку и вздохнула.

— Да, — сказала она, отвечая на его рукопожатие.

Он был в нерешительности, не зная, задержать ли ее руку в своей. Он смотрел ей в глаза, и в эту минуту она отдала бы три четверти оставшихся ей лет за то, чтобы обладать чертами лица, способными выразить всю

глубину ее души. Но нет, она чувствовала, лицо ее застыло, уголки рта начали невольно подергиваться, а глаза, наверное, от застенчивости приобрели лживое выражение.

— Я хочу сказать, — продолжал Люишем, — что это навечно. Мы всегда будем друзьями, всегда будем рядом.

— Всегда. Если я могу хоть чем-нибудь помочь вам, я готова это сделать. И пока в моих силах, я буду помогать вам.

— Мы будем действовать вдвоем! — воскликнул Люишем, еще раз пожимая ей руку.

Ее лицо светилось. А глаза от охватившего ее чувства на мгновение стали прекрасными.

— Вдвоем! — повторила она, губы ее задрожали, и комок подкатил к горлу.

Она вдруг вырвала у него свою руку и отвернулась. А потом чуть ли не бегом бросилась в противоположный конец галереи, и он увидел, как она роется в складках своего черно-зеленого платья, доставая носовой платок.

Да она вот-вот расплачется!

Люишем только подивился такому совершенно неуместному проявлению чувств.

Он последовал за ней и стал рядом. Откуда слезы? Только бы никто не вошел в галерею до тех пор, пока она не уберет свой платок. Тем не менее он чувствовал себя немного польщенным. Наконец она овладела собой, вытерла слезы и храбро улыбнулась ему, глядя на него покрасневшими глазами.

— Извините меня, — сказала она, все еще всхлипывая. — Я так рада! — объяснила она. — Да, мы будем бороться вместе. Мы вдвоем. Я постараюсь вам помочь. Я знаю, что могу это сделать. А на свете столько работы!

— Вы очень добры ко мне, — произнес Люишем фразу, которая была подготовлена до того, как мисс Хейдингер расчувствовалась у него на глазах.

— О, нет!

— Приходило ли вам когда-нибудь в голову, — вдруг спросила она, — как мало может сделать женщина, если она одна на свете?

— И мужчина, — ответил он, минуту подумав.

Так Люишем приобрел первого союзника по делу, символом которого служил красный галстук и которое в ближайшем будущем должно было принести ему Величие. Первого союзника, ибо до сих пор, если не считать не слишком скромных изречений на стенах его жилища, он никогда еще не



открывал никому своих честолюбивых замыслов. Даже во время той, теперь уже полузабытой любовной истории в Хортли, несмотря на всю возникшую тогда душевную близость, он и словом не обмолвился о своей карьере.

## 11. Спиритический сеанс

Мисс Хейдингер склонна была верить в бессмертие души; это обстоятельство и вызвало острый спор, разгоревшийся в лаборатории во время чаепития. Студентки, которые в том году составляли большинство по сравнению с представителями сильного пола, в промежутке между окончанием занятий в четыре часа и приходом в пять сторожа организовывали общее чаепитие. Иногда на эти чаепития приглашались и студенты. Но одновременно за столом сидело не больше двух мужчин, потому что остались всего две лишние чашки после того, как противный Симмонс разбил третью.

Студент Смизерс, человек с квадратной головой и суровым взглядом серых глаз, отрицал существование духов с непримиримой убежденностью, в то время как Бледерли, отличительными чертами которого были оранжевый галстук и копна давно не стриженных прямых волос, рассуждал туманно и чистосердечно.

— Что такое любовь? — спрашивал Бледерли. — Уж она-то во всяком случае бессмертна.

Но его довод был сочтен неубедительным и отвергнут.

Люишем как самый многообещающий студент курса был арбитром: он взвешивал доказательства всесторонне и обстоятельно. Спиритические сеансы, заявил он, — это мошенничество.

— Глупость и жульничество! — громко подтвердил Смизерс, краем глаза поглядывая, достиг ли цели брошенный им вызов.

А мишенью его был седой старичок с большими серыми глазами на маленьком лице, который, пока его не захватил спор, стоял у одного из окон лаборатории с видом полнейшего равнодушия. Он носил коричневую бархатную куртку и был, по слухам, очень богат. Фамилия его была Лэгьюн. Он не был настоящим студентом, а принадлежал к тем вольнослушателям, что допускаются в лаборатории при наличии там свободных мест. Он имел известность ярого сторонника спиритов, говорили даже, что он вызывал Хаксли на публичный диспут о материализме. Он посещал лекции по биологии и время от времени работал в лаборатории, для того чтобы, как он признавался, бороться с неверием его же собственным оружием. Он с жадностью клюнул на брошенную ему Смизерсом приманку спора.

— Нет, говорю я! — воскликнул он на всю узкую комнату и поспешил

к столу вслед за своей репликой. Он чуть заметно шепелявил. — Извините, что перебиваю вас, сэр, но этот вопрос глубоко меня интересует. Надеюсь, вы простите мое вмешательство, сэр? Внесем в ваше утверждение некоторую субъективность. Скажем, я... дурак или жулик?

— Ну, знаете ли, — отозвался Смизерс с грубоватой прямоотой кенсингтонского студента, — это уж чересчур лично.

— Вы допускаете, сэр, что я человек честный?

— Предположим.

— Я видел духов, слышал духов, чувствовал прикосновение духов.

И он широко раскрыл свои бесцветные глаза.

— Значит, дурак, — пробормотал Смизерс, но заключение его не достигло ушей спирита.

— Возможно, вы были обмануты, — несколько по-иному изложил мысль Смизерса Люишем.

— Уверяю вас... И другие могут видеть, слышать и чувствовать. Я проверил это, сэр! Проверил! Я кое-что понимаю в науке и сам ставил опыты. Абсолютно исчерпывающие опыты на научной основе. Всевозможные. Разрешите спросить вас, сэр: предоставляли ли вы духам возможность вступить с вами в общение?

— Вот еще! Платить деньги мошенникам! — сказал Смизерс.

— Вот видите! Вы предубеждены! Перед нами человек, который отрицает факты, не хочет их видеть, а поэтому и не видит.

— Уж не требуете ли вы от каждого, кто не верит в духов, чтобы он побывал на спиритическом сеансе, прежде чем вы признаете за ним право их отрицать?

— Именно так. Именно так. До тех же пор ему ничто не ведомо.

Спор накалялся. Маленький старичок вскоре разошелся вовсю. Он знает одного человека, наделенного необыкновенными способностями, одного медиума...

— Платного? — спросил Смизерс.

— Завязываешь ли ты рот быку, что жнет твои посевы? — быстро спросил Лэгьюн.

Смизерс откровенно смеялся.

— Неужели вы не доверяете показаниям весов только потому, что купили их? Приходите и посмотрите. — Лэгьюн был очень взволнован: он оживленно жестикулировал, и голос его звенел. И он не сходя с места пригласил всех присутствующих к себе на спиритический сеанс. — Разумеется, не все сразу: духи, знаете ли... новые влияния... Группами. Я должен предупредить: может, и ничего не получится. Но вполне

возможно... Я был бы бесконечно рад...

Вот так и случилось, что Люишем согласился стать свидетелем вызывания духов. Вместе с ним на сеансе, как условились, должны были присутствовать мисс Хейдингер, непримиримый скептик Смизерс, Лэгьюн, его секретарша и сам медиум. А потом состоится еще один сеанс, для другой группы. Люишем был рад, что сможет воспользоваться моральной поддержкой Смизерса.

— Потерянный вечер, — сказал Смизерс, который принял отважное решение состязаться с Люишем за медаль Форбса. — Но я им докажу. Увидите сами.

Им дали адрес в Челси.

Дом, когда его наконец разыскал Люишем, оказался большим и таким величаво-внушительным, что молодой человек пришел в замешательство. В просторном, богато убранном холле он повесил свою шляпу подле чьей-то соломенной шляпки с зеленой отделкой. Сквозь отворенную дверь он увидел роскошный кабинет — книжные полки, увенчанные гипсовыми бюстами, и заваленный бумагами огромный письменный стол, на котором стояла электрическая лампа с зеленым абажуром. Горничная, как показалось ему, с бесконечным презрением взглянула на его порыжевший траурный костюм, украшенный пламенным галстуком, и, устремившись вперед, повела его вверх по лестнице.

Она постучала в дверь, из-за которой доносились голоса спорящих.

— Наверное, уже начали, — шепнула она Люишему. — Мистеру Лэгьюну всегда не терпится.

Послышался звук передвигаемых стульев, затем громкий голос Смизерса, что-то предлагающего, и его нервный смех. Дверь отворилась, и появился Лэгьюн. Его старческое личико казалось меньше обычного, а большие серые глаза стали совсем огромными.

— А мы уж собирались начинать без вас, — прошептал он. — Проходите.

Комната, куда вошел Люишем, была еще роскошнее, чем приемная Хортлийской школы, красивее которой (не считая королевских покоев в Виндзорском дворце) он до сих пор не видел. Ее мебель удивительно напоминала ему мебель, выставленную в Южно-Кенсингтонском музее. Прежде всего в глаза бросались величавые, невыносимо надменные кресла: куда там сесть на такое — это казалось просто дерзостью. Он заметил, что Смизерс стоит, прислонившись к книжной полке, с выражением одновременно враждебности и робости на лице. Затем он услышал, что Лэгьюн приглашает всех садиться. За столом уже расположился медиум

Чеффери, снисходительный, слегка потрепанный джентльмен с густыми седоватыми бакенбардами, широким тонкогубым ртом, сжатым в глубокие складки по углам, и тяжелым квадратным подбородком. Он бросил на Люишема строгий взгляд поверх своих золоченых очков, и Люишем смутился. Мисс Хейдингер чувствовала себя совершенно непринужденно. Она сразу же затеяла с Люишем разговор, но он отвечал менее уверенно, чем во время их беседы в галерее старинного литья; сейчас они словно поменялись ролями. Она рассуждала, а он пребывал в замешательстве, смутно чувствуя, что она берет над ним верх. Справа от себя он заметил еще одну девичью фигуру в темном платье.

Все подошли к стоявшему посредине комнаты круглому столу, на котором лежали тамбурины и маленькая зеленая шкатулка. Когда Лэгюн рассаживал гостей, указывая им их места, оказалось, что у него удивительной длины узловатое запястье и костлявые пальцы. Люишему выпало сидеть рядом с хозяином, между ним и медиумом. Справа от медиума расположился Смизерс, за ним мисс Хейдингер, и, наконец, круг замыкала секретарша, которая сидела возле Лэгюна. Таким образом, скептики, расположились по обе стороны от медиума. Присутствующие уже расселись по местам, когда Люишем, скользнув взглядом мимо Лэгюна, встретился глазами с девушкой, сидевшей рядом с этим джентльменом. Это была Этель! Узкое зеленое платье, отсутствие шляпы и некоторая бледность в лице немного меняли ее внешность, но он все равно ее узнал в тот же миг. И по глазам ее было видно, что она тоже узнала его.

Она тотчас отвела взгляд. Сначала он почувствовал только удивление. Он хотел было заговорить с нею, но ему помешало одно незначительное обстоятельство: он не мог вспомнить ее фамилию. И необычность всей обстановки смущала его. Он не знал, как нужно обратиться к ней, — он все еще придерживался предрассудков этикета. И потом, заговорить с ней значило объяснять всем этим людям...

— Убавьте, пожалуйста, газ, мистер Смизерс, — сказал Лэгюн, и, как только единственная оставшаяся зажженной горелка газового рожка была прикручена, они очутились в темноте. Теперь уже поздно было затевать разговор.

Тщательно проверили, как составлена цепь, — все должны были сидеть, сцепившись мизинцами. При этом Люишем получил от Смизерса выговор за свою рассеянность. Медиум приветливо разъяснил, что он ничего не обещает, ибо не обладает властью «указывать» духам, когда появиться. Затем наступило молчание...

Некоторое время Люишем оставался совершенно невосприимчив к

тому, что было вокруг.

Он сидел в насыщенной дыханием тьме, не сводя глаз со смутного пятна, каким представлялось ему теперь ее такое знакомое лицо. А в мыслях его удивление сменялось досадой. Ведь он давно решил, что эта девушка навсегда для него потеряна. Ему уже перестали грезиться былые дни, полные страстной тоски, и грустные вечера, которые после своего приезда в Лондон он проводил в скитаниях по Клэпхему, все меньше и меньше надеясь встретиться с нею. Но сейчас ему было стыдно своего глупого молчания, его раздражало неловкое положение, в котором он оказался. Была минута, когда он уже готов был нарушить тишину и окликнуть ее через стол: «Мисс Хендерсон!»

Как мог он забыть, что ее фамилия — Хендерсон? Он был еще так молод, что удивлялся человеческой способности забывать.

Смизерс кашлянул, словно призывая к вниманию.

Люишем, с трудом вспомнив о своих разоблачительных обязанностях, огляделся по сторонам, но в комнате царила полная тьма. Тишину нарушали лишь глубокие вздохи да шорохи медиума, который все время ерзал на своем месте. Но даже в этой сумятице мыслей первым в Люишеме заговорило тщеславие. Что она подумала о нем? Смотрит ли она в темноте на него, как он смотрит на нее? Сделать ли вид, когда зажгут свет, что он впервые ее видит? Шли минуты, и тишина становилась все более и более глубокой. Огонь в камине не горел, и в комнате из-за этого казалось холодно. Неожиданно в душе его возникло странное сомнение: действительно ли он видел Этель или принял за нее кого-то еще? Ему не терпелось, чтобы сеанс поскорее закончился, он хотел еще раз взглянуть на нее. Память его с удивительной отчетливостью и со столь же удивительной бесстрастностью рисовала ему былые дни в Хортли...

По спине у него пробежал холодок, который он попытался объяснить сквозняком...

Внезапно в лицо ему и в самом деле пахнуло ветром, и он невольно вздрогнул. Хорошо бы она ничего не заметила. Не рассмеяться ли потихоньку, подумал он, чтобы показать, что он несколько не испугался? Вздрогнул еще кто-то рядом, и он вдруг услышал необычайно резкий запах фиалок. Мизинец Лэгьюна почему-то стал вибрировать.

Что происходит?

Музыкальная шкатулка где-то на столе начала наигрывать незнакомую ему простенькую и заунывную мелодию. От этого тишина стала еще более глубокой, она превратилась в безмолвное ожидание, словно тонкая нить дребезжащей мелодии протянулась над пропастью.

И здесь Люишему удалось взять себя в руки. Что происходит? Нужно быть внимательным. Хорошо ли он наблюдает за происходящим? Витает, как всегда, где-то в облаках. Никаких духов не существует, медиумы — просто обманщики, и он находится здесь, чтобы доказать эту святую истину. Нельзя отвлекаться, он может что-нибудь прозевать. Что означает этот запах фиалок? И кто завел музыкальную шкатулку? Конечно, медиум. Но каким образом? Не слышно ли было шороха перед тем, как заиграла музыка, пытался он припомнить, не было ли заметно какого-либо движения? Но память не шла на помощь. Внимание! Следует напрячь внимание!

Ему вдруг ужасно захотелось выступить разоблачителем шарлатанства. Он представил себе эффектную сцену, в которой главная роль будет принадлежать ему со Смизерсом: все это на глазах у Этель. И принялся настороженно вглядываться во мрак.

Кто-то опять вздрогнул, на этот раз прямо напротив него. Он почувствовал, что мизинец Лэгьюна завибрировал больше прежнего, и вдруг со всех сторон послышался стук. Тук! — и Люишем сам вздрогнул. Быстрый стук — тук-тук, тук-тук — под столом, под стулом, в воздухе, вдоль карнизов. Медиум вновь застонал, задрожал, и овладевшее им нервное возбуждение передалось всем по цепи. Музыка, которая, казалось, вот-вот стихнет, внезапно опять ожила.

Как это делается?

Он услышал рядом голос Лэгьюна, который, затаив дыхание, с благоговейной почтительностью вопрошал:

— Алфавит? Должны ли мы... Должны ли мы воспользоваться алфавитом?

Громкий стук из-под стола.

— Нет! — истолковал ответ медиум.

Стук раздавался повсюду.

Разумеется, это обман. Нужно только разобраться в его механизме. Люишем удостоверился, что действительно держится за мизинец медиума. Он сосредоточенно вглядывался в сидевшую рядом темную фигуру. Где-то сзади раздался стук, такой сильный, что у него был почти металлический резонанс. Затем стук повсеместно прекратился, и в глубоком молчании была слышна тихая мелодия, лившаяся из музыкальной шкатулки. Но через секунду и она исчезла...

Воцарилось полное безмолвие. Нервы мистера Люишема были теперь взвинчены до предела. Внезапно его охватило сомнение, затем им овладело чувство страха, ощущение нависшей над ним опасности. Тьма давила на

него...

Он вздрогнул. На столе что-то зашевелилось. Чем-то звонко ударили по металлу. Послышался какой-то шелест, как при разглаживании бумаги, и шум ветра, хотя воздух в комнате не колыхнулся. Казалось, будто над столом что-то парит.

Лэгьюн от волнения судорожно подергивался; рука медиума трепетала. В темноте на столе появилось какое-то светящееся зеленовато-белое пятно, которое шевелилось и медленно подпрыгивало среди черных теней.

Предмет этот, что бы он собой ни представлял, вдруг подпрыгнул выше и, увеличиваясь в размерах, стал подниматься в воздух. Люишем, как заколдованный, следил за ним. Это было странно, необъяснимо, чудесно. На мгновение он позабыл даже про Этель. Все выше и выше над головой поднимался тускло светящийся предмет, как вдруг он увидел, что это призрачная рука. Она медленно проплыла над столом, казалось, прикоснулась к Лэгьюну — тот весь задрожал. Потом медленно повернулась и дотронулась до Люишема. Он заскрежетал зубами.

Он ощутил — он не сомневался — плотное и в то же время мягкое прикосновение пальцев. Почти в то же мгновение мисс Хейдингер вскрикнула и поспешила объяснить, что ее погладили по волосам, а музыкальная шкатулка внезапно снова заиграла свою мелодию. Еле видный овал тамбурина поднялся в воздух, зазвенел, стукнулся о голову Смизерса, а потом будто проплыл над головами сидевших. И тотчас же за спиной медиума начал со скрипом вращаться на своих колесиках маленький столик.

Невозможно представить, чтобы медиум, сидевший столь неподвижно рядом, мог проделывать все эти штуки, как бы абсурдно нелепы они ни были. Вообще-то говоря...

Призрачная рука парила почти перед самыми глазами мистера Люишема. Она чуть трепетала в воздухе. Ее пальцы то бессильно опускались, то снова сжимались.

Шум! Раздался громкий шум. Что-то двигается? А он? Что он сейчас должен делать?

Люишем вдруг спохватился, что мизинец медиума больше не прикасается к его руке. Он попробовал отыскать его, но не смог. Шаря в темноте, он уцепился за чью-то руку, потом выпустил и ее. Послышалось восклицание. Треск. Совсем рядом кто-то хотел было выругаться, но сдержался на полуслове. Пшш! Зашипев, снова ярко вспыхнул закрученный газовый огонек.

И Люишем увидел круг мигающих от этого шипящего света лиц,



обращенных к двум стоящим фигурам. Главной из них был Смизерс; он возвышался торжествующий — одна рука на кране от газового рожка, вторая сжимала руку медиума, в которой тот держал злополучный тамбурин.

— Ну как, Люишем? — вскричал Смизерс. Пламя трепетало, и тени метались по его лицу.

— Попался! — громко сказал Люишем, вставая и избегая глядеть на Этель.

— В чем дело? — закричал медиум.

— В обмане, — выдохнул Смизерс.

— Ничего подобного, — возмутился медиум. — Когда вы зажгли газ... я поднял руку... и поймал тамбурин... он бы упал мне на голову.

— Мистер Смизерс, — воскликнул Лэгьюн, — мистер Смизерс, вам не следовало этого делать. Такое потрясение...

Тамбурин со звоном упал на пол. Медиум изменился в лице, как-то странно застонал и пошатнулся. Лэгьюн крикнул, чтобы принесли стакан воды. На медиума, ожидая, что он вот-вот упадет, смотрели все, за исключением Люишема. Им снова завладела мысль об Этель. Он повернулся, чтобы взглянуть, какое впечатление произвела на нее вся эта сцена разоблачения, в которой он играл далеко не последнюю роль, и увидел, что она перегнулась через стол, стараясь достать какую-то вещь. Она не смотрела на него, она смотрела на медиума. Ее лицо было испуганным и бледным. Затем, почувствовав на себе его взгляд, она подняла голову, и глаза их встретились.

Она вздрогнула, выпрямилась и посмотрела на него со странной враждебностью.

В этот момент Люишем еще ничего не понял. Ему хотелось лишь показать, что он участвовал в разоблачении на равных правах со Смизерсом. Ее жест просто привлек его внимание к предмету, который она пыталась достать; на столе лежала какая-то съежившаяся оболочка — резиновая, надувная перчатка. Как видно, это тоже входило в оборудование спиритического сеанса. Люишем бросился к столу и схватил перчатку.

— Смотрите! — крикнул он, протягивая ее Смизерсу. — Вот еще! Что это такое?

Он заметил, что девушка вздрогнула, и увидел, как Чеффери, медиум, бросил на нее из-за плеча Смизерса укоряющий взгляд. И тут Люишем все понял: она сообщница медиума. А он стоит в торжествующей позе, держа в руке доказательство ее вины! Торжества его как не бывало.

— Ага! — воскликнул Смизерс, перегибаясь через стол и беря у

Люишема перчатку. — Молодец старик Люишем! Теперь он у нас в руках. Это еще почище, чем тамбурин. — Его глаза сверкали от восторга. — Видите, мистер Лэгьюн? — спросил Смизерс. — Медиум держал ее в зубах и надувал. Отрицать бессмысленно. Это не падало вам на голову, мистер медиум, а? Это... это светящаяся рука!

## 12. Люишем ведет себя странно

В тот вечер, направляясь вместе с Люишем к Челси-стейшн, мисс Хейдингер заметила, что он пребывает в весьма необычном состоянии духа. Сцена, очевидцами которой они оба только что были, оказала на нее глубокое воздействие; некоторое время она искренне верила в существование духов, и состоявшееся разоблачение произвело переворот в ее взглядах. Подробности же случившегося несколько смешались у нее в голове. Люишем, по ее мнению, в этот вечер оказал не меньшую, чем Смизерс, услугу торжеству науки. В общем, настроение у нее было приподнятое. Она не возражала бы против насмешек Люишема, но не могла не сердиться на медиума.

— Ужасно жить ложью! — говорила она. — Как может улучшиться мир, если разумные, образованные люди используют свой разум и знания на то, чтобы вводить в заблуждение других? Ужасно!

— Страшный человек, — продолжала она, — и какой у него вкрадчивый, какой лживый голос! И эта девушка. Так жаль ее! Ей, должно быть, стало ужасно стыдно, иначе с чего бы она расплакалась? Это меня очень расстроило. Представьте, так расплакаться! Это было неподдельное — да! — неподдельное отчаяние. Но чем можно ей помочь?

Она замолчала. Люишем шагал рядом, глядя прямо перед собой и погрузившись в мрачное раздумье.

— Все это напоминает мне «Медиума Сладжа», — сказала мисс Хейдингер.

Он ничего не ответил.

Она быстро взглянула на него.

— Вы читали «Медиума Сладжа»?

— А? — переспросил он, приходя в себя. — Что? Извините. Медиума Сладжа? А мне кажется, его фамилия — Чеффери.

Он взглянул на нее, очень озабоченный этим вопросом.

— Я говорю о «Сладже» Броунинга. Вы знаете эту поэму?

— Нет, к сожалению, не знаю, — ответил Люишем.

— Надо будет дать вам ее почитать, — сказала она. — Это великолепная вещь. Там разбирается самая суть вопроса.

— Вот как?

— Мне раньше это и в голову не приходило. А теперь я все поняла. Если людям, бедным людям, платят деньги за то, чтобы происходили

чудеса, они не в силах устоять. Они вынуждены обманывать. Это подкуп! Это безнравственность!

Она говорила короткими фразами, задыхаясь, потому что Люишем, не заботясь о ней, огромными шагами шел вперед.

— Интересно знать, сколько такие люди могут заработать честным путем?

Этот вопрос медленно дошел до сознания Люишема. Он с трудом отрешился от своих мыслей.

— Сколько они могут заработать честным путем? Понятия не имею. — Он помолчал. — Эта история мне не совсем ясна, — добавил он. — Я должен подумать.

— Все ужасно сложно, не правда ли? — спросила она чуть удивленно.

Остальную часть пути к станции оба молчали. На прощание они обменялись рукопожатием, которым весьма гордились. Люишем, правда, на сей раз был несколько небрежен. Когда поезд двинулся, она еще раз пытливо взглянула на него, стараясь разгадать причину подобного настроения. Он напряженно вглядывался куда-то вдаль, словно уже забыл о ее существовании.

Он должен подумать! Но ведь в таких случаях, полагала она, ум хорошо, а два лучше. Беда, что ей совершенно неведомы его мысли. «Как отгорожены мы друг от друга, как далеки наши души!» — прошептала она, глядя из окна на смутные тени, летевшие навстречу поезду.

Ей вдруг стало тоскливо. Она почувствовала себя одинокой, совсем одинокой в этом огромном мире.

Но вскоре ее мысли вернулись к окружающей действительности. Она заметила, что двое пассажиров из соседнего купе рассматривают ее критически. И рука ее невольно поднялась, чтобы пригладить волосы.

### 13. Люишем настаивает

Этель Хендерсон сидела за своей машинкой перед окном в кабинете мистера Лэгьюна и безучастно рассматривала серо-синие краски ноябрьских сумерек. Лицо ее было бледно, а веки красны от недавних слез, руки неподвижно лежали на коленях. За Лэгьюном только что захлопнулась дверь.

— Ох, — произнесла она, — хоть бы умереть и избавиться от всего этого!

И снова застыла в неподвижности.

— Интересно, — опять сказала она, — что я сделала дурного и почему должна так страдать?

Казалось бы, на кого-на кого, а на гонимое судьбой создание эта прелестная девушка вовсе не походила. Ее изящная головка была увенчана темными вьющимися волосами, темными были и тонко вычерченные брови над карими глазами. Пухлые губы красивого рисунка выразительно изгибались, подбородок был маленький, белая шея — полная и красивая. Нет необходимости отдельно говорить о ее носе — он был как раз таким, каким нужно. Среднего роста, скорее плотная, чем худенькая, она была одета в платье с широкими рукавами, сшитое из приятного золотисто-коричневого материала по изящной моде тех времен. Она сидела за машинкой, мечтала умереть и, недоумевая, спрашивала себя, что она сделала дурного.

Все стены комнаты были уставлены книгами; среди них выделялся длинный ряд нелепых претенциозных «трудов» Лэгьюна — бездарного, путаного подражания философии, которому он посвящал свою жизнь. Под самым потолком стояли гипсовые бюсты Платона, Сократа и Ньютона. За спиной Этель находился освещенный электрической лампой под зеленым абажуром письменный стол этого «великого» человека; на столе в беспорядке лежали гранки и номера «Геспера» — «Газеты для сомневающихся», которую он с ее помощью составлял, писал, редактировал, издавал и которую он — уже без ее помощи — финансировал и сам же — без ее помощи — читал. Перо, вонзившись стальным концом в бювар, еще трепетало. Швырнул его сам мистер Лэгьюн.

Случившийся накануне скандал страшно его расстроил, и перед уходом он без конца изливал свой гнев в страстных монологах. Работа всей

его жизни, да, всей жизни, погибла! Она, конечно, знала, что Чеффери — мошенник. Не знала? Молчание.

— После всего хорошего...

Она со слезами перебила его:

— О, я знаю, знаю!

Но Лэгьюн был беспощаден и утверждал, что она предала его, хуже того, выставила на посмешище! Как сможет он теперь продолжать «труд», начатый им в Южно-Кенсингтонской школе? Откуда ему взять силы, если его собственная секретарша принесла его в жертву мошенническим проделкам ее отчима? Мошенническим проделкам!

Он взволнованно жестикулировал, серые глаза его от возмущения вылезли из орбит, пронзительный дискант не умолкал ни на минуту.

— Не он, так кто-нибудь другой обманул бы вас, — тихо пробормотала в ответ Этель, но искатель сверхъестественного не услышал ее слов.

Такая кара была, возможно, все же лучше, чем увольнение, зато и продолжалась она дольше. А дома ждал мрачный Чеффери, который злился на нее за то, что она не сумела спрятать надувную перчатку. Он не был вправе возлагать вину на нее, это было несправедливо, но а злобе человеку свойственно пренебрегать справедливостью. То, что тамбурин оказался у него в руке, можно было, утверждал он, объяснить, сказав, что он поднял руку и поймал его у себя над головой, когда задвигался Смизерс. Но для надувной перчатки объяснения не находилось. Притворившись, будто ему стало плохо, он дал ей возможность убрать перчатку. Кто-то в этот момент смотрел на стол? Да чепуха все это!

Рядом с вонзенным в стол пером стояли маленькие дорожные часы в футляре, которые вдруг мелодичным звоном возвестили о том, что уже пять часов. Она повернулась и поглядела на часы. Потом скорбно улыбнулась уголками рта.

— Пора домой, — сказала она. — А-там все начнется снова. И так без конца... Отсюда туда, оттуда сюда...

— Я поступила глупо...

— Наверное, я сама виновата. Мне следовало ее убрать. Можно было успеть...

— Мошенники... Обыкновенные жалкие мошенники...

— Мне и в голову не приходило, что я снова увижу его...

— Ему было, конечно, стыдно... Ведь он был со своими друзьями.

Некоторое время она сидела неподвижно, безучастно глядя перед собой. Потом вздохнула, потерла согнутым пальцем покрасневший глаз, встала.

Она прошла в холл, где над жакеткой висела ее шляпа, пронзенная двумя булавками; надела жакет и шляпу и вышла в холодный мрак.

Не успела она пройти от дома Лэгьюна и двадцати ярдов, как почувствовала, что какой-то человек догнал ее и шагает рядом. Такие вещи не в диковинку для лондонских девушек, ежедневно шагающих на работу и с работы, и ей волей-неволей многому пришлось научиться со времени своих хортлийских подвигов. Она напряженно глядела перед собой. Тогда мужчина обогнал ее и загородил дорогу, и ей пришлось остановиться. Она с возмущением подняла глаза. Перед ней стоял Люишем. Он был бледен. С минуту он неуклюже топтался на месте, затем молча подал ей руку. Она машинально протянула ему свою. Наконец он обрел голос.

— Мисс Хендерсон! — сказал он.

— Что вам угодно? — чуть слышно спросила она.

— Не знаю, — ответил он. — Я хотел поговорить с вами.

— Да? — Ее сердце учащенно забилося.

Он вдруг почувствовал, что ему трудно говорить.

— Разрешите мне... Вы ждете омнибус?.. Вам далеко идти? Мне хотелось бы поговорить с вами. Есть много...

— Я хожу в Клэпхем пешком, — ответила она. — Если хотите... пройти часть пути...

Она не знала, как себя вести. Люишем пристроился сбоку, и некоторое время, взволнованные, они неловко шагали рядом; им надо было так много сказать друг другу, но они не могли подыскать слов, чтобы начать разговор.

— Вы забыли Хортли? — внезапно спросил он.

— Нет.

Он взглянул на нее. Она шла, опустив голову.

— Почему вы ни разу не написали? — с горечью спросил он.

— Я написала.

— Еще раз, хочу я сказать.

— Я написала, в июле.

— Я не получил письма...

— Оно пришло обратно.

— Но миссис Манди...

— Я забыла ее фамилию и послала письмо на школу.

Люишем едва удержался от восклицания.

— Мне очень жаль, — сказала она.

Они снова шли молча.

— Вчера вечером... — наконец заговорил Люишем. — Я не имею права спрашивать. Но...

Она глубоко вздохнула.

— Мистер Люишем, — сказала она, — человек, которого вы видели... медиум... мой отчим.

— И что же?

— Разве этого не достаточно?

Люишем помедлил.

— Нет, — наконец ответил он.

Снова наступило напряженное молчание.

— Нет, — повторил он, на этот раз более уверенно. — Мне совершенно безразлично, что делает ваш отчим. Вы сами принимали участие в обмане?

Она побледнела. Ее рот открылся, потом снова закрылся.

— Мистер Люишем, — медленно начала она, — можете мне не верить, это кажется невероятным, но, клянусь честью... Я не знала, то есть наверняка не знала... что мой отчим...

— Ага! — вскричал Люишем, сразу загоровшись. — Значит, я был прав...

Секунду она смотрела на него.

— Я знала. — Она вдруг заплакала. — Как мне вам объяснить? Это неправда. Я знала. Я знала все время.

Он устоял на нее в крайнем изумлении, даже отстал на шаг, но тотчас снова догнал. Наступило молчание, молчание, которому, казалось, не будет конца. Вся превратившись в ожидание, не смея даже взглянуть ему в лицо, она больше не плакала.

— Пусть, — наконец медленно сказал он. — Пусть даже так. Мне все равно.

Они свернули на Кингс-роуд, шумную от непрерывного движения экипажей, от быстрого потока пешеходов, и тотчас набежавшая ватага мальчишек, волочивших растрепанное чучело Гая Фокса<sup>[19]</sup>, разлучила их. На оживленной вечерней улице всегда приходится переговариваться отрывистыми выкриками или просто молчать. Он посмотрел на нее и увидел, что лицо ее снова приняло суровое выражение. Но вот из шумной толкотни она свернула на темную улицу, где на окнах домов были спущены шторы, и они смогли продолжить свой разговор.

— Я понимаю, что вы хотели сказать, — начал Люишем. — Я уверен, что понял вас, вы знали, но не хотели знать. Что-то в этом роде.

Но она успела принять решение.

— В конце этой улицы, — сказала она, глотая слезы, — вам придется повернуть обратно. Спасибо за то, что вы пришли, мистер Люишем. Но вам



было стыдно, конечно, вам стыдно. Мой хозяин занимается спиритизмом, мой отчим — профессиональный медиум, и моя мать занимается спиритизмом. Вы были совершенно правы, не заговорив со мной вчера вечером. Совершенно. Спасибо, что вы пришли, но теперь вам придется уйти. Жизнь и так достаточно жестока... В конце улицы вы должны повернуть обратно. В конце улицы...

Добрую сотню ярдов Люишем не отвечал.

— Я иду с вами в Клэпхем, — сказал он.

До конца улицы они дошли молча. На углу она повернулась и посмотрела на него.

— Уходите, — шепнула она.

— Нет, — упрямо сказал он. Они стояли лицом к лицу; это была решительная минута в их жизни.

— Выслушайте меня, — продолжал Люишем. — Мне трудно объяснить, что я чувствую. Я сам не знаю... Но я не согласен вот так потерять вас. Я не хочу, чтобы вы снова ускользнули от меня. Я всю ночь не спал из-за этого. Мне безразлично, где вы живете, кто ваши родные и принимали или не принимали вы участие в этом спиритическом мошенничестве. Даже это мне безразлично. Больше, во всяком случае, вы этого делать не будете. Что бы там ни было. Я думал всю ночь и весь день. Я должен был прийти и разыскать вас. И я вас нашел. Я никогда вас не забывал. Никогда. И, пожалуйста, не думайте, что я вас послушаюсь и уйду.

— Ни мне, ни вам это ни к чему, — сказала она не менее решительно, чем он.

— Я вас не покину.

— Но это бесполезно...

— Я иду, — заявил Люишем.

И он пошел.

Он весьма категорически задал ей вопрос, она же не ответила ему, и некоторое время они шли в угрюмом молчании. Наконец она заговорила, и губы ее дрожали.

— Лучше бы вам оставить меня, — сказала она. — Мы с вами совсем разные люди. Вы почувствовали это вчера вечером. Вы помогли вывести нас на чистую воду...

— Когда я только приехал в Лондон, я целыми неделями бродил по Клэпхему, разыскивая вас, — сказал Люишем.

Они перешли через мост и заговорили только, когда очутились на узкой улочке с убогими лавчонками, что находится возле Клэпхемской станции. Она шла, отвернувшись, лицо ее было безучастным.

— Мне очень жаль, — начал Люишем с какой-то церемонной вежливостью, — если вы считаете мое поведение навязчивым. Я не хочу вмешиваться в ваши дела, если вы этого не желаете. При виде вас мне почему-то многое пришло на память... Я не могу этого объяснить. Возможно, я просто не мог не прийти и не разыскать вас, я все время вспоминал ваше лицо, вашу улыбку, и как вы спрыгнули тогда с калитки у шлюза, и как мы пили с вами чай... И многое-многое другое.

Он снова замолчал.

— И многое-многое другое.

— Если вы позволите, я пойду с вами дальше, — добавил он и продолжал путь, не получив ответа.

Они пересекли широкую улицу и свернули к пустырю.

— Я живу в этом переулке, — сказала она, неожиданно останавливаясь на углу. — Я предпочла бы...

— Но я еще ничего не сказал.

Она смотрела на него, лицо ее побледнело, с минуту она не могла произнести ни слова.

— Это ни к чему, — проговорила она. — Я связана со всем этим...

Она замолчала.

— Я приду, — выразительно сказал он, — завтра вечером.

— Нет, — возразила она.

— Я приду.

— Нет, — прошептала она.

— Я приду.

Она больше не могла таить от себя охватившую ее сердце радость. Она была напугана его приходом, но рада и знала, что ему известна ее радость. Она больше не возражала и молча протянула ему руку. А на следующий день он, как и сказал, ждал ее у подъезда.

## 14. Точка зрения мистера Лэгьюна

Три дня Лэгьюна не было видно в лаборатории Южно-Кенсингтонской школы. Наконец он пришел, и пришел еще более речистым и самоуверенным, чем прежде. Все думали, что он откажется от старых взглядов, он же только укрепился в своей вере и продолжал беззастенчиво ее проповедовать. Из какого-то никому не ведомого источника он почерпнул новые силы и убежденность. Даже красноречие Смизерса оказалось перед ним бессильным. За чаем, для которого, как всегда, не хватило чашек, опять разгорелась жаркая битва. Ею заинтересовался даже почтенного вида молодой ассистент профессора, наслаждаясь, по-видимому, затруднительным положением Смизерса. Ибо сначала Смизерс был самоуверен и снисходителен, но под конец уши его горели, а от хороших манер не осталось и следа.

Люишем, как заметила мисс Хейдингер, играл в этой дискуссии весьма незавидную роль. Раза два он как будто намеревался что-то сказать, обращаясь к Лэгьюну, но тут же отказывался от своего намерения, и слова замирали у него на губах.

К скандальному разоблачению Лэгьюн относился довольно спокойно и громогласно выступил в защиту медиума.

— Этот Чеффери, — заявил он, — чистосердечно во всем признался. Его точка зрения...

— Факты остаются фактами, — перебил его Смизерс.

— Факт есть синтез впечатлений, — отпарировал Лэгьюн, — но это вам станет понятно только с возрастом. Все дело в том, что мы с ним действовали несогласованно. Я сказал Чеффери, что вы новички. Он и обошелся с вами, как с новичками: устроил показательный сеанс.

— Весьма показательный, — заметил Смизерс.

— Вот именно. И если бы не ваше вмешательство...

— А!

— Он подстроил только самые элементарные эффекты...

— Подстроил. Этого вы не можете не признать.

— Я и не пытаюсь отрицать. Но, как он объяснил, это было необходимо и вполне оправдано. Спиритические явления трудноуловимы, для них требуется определенный навык в умении наблюдать. Медиум — более тонкий инструмент, чем весы или шарик буры, а сколько проходит времени, прежде чем вы научитесь получать точные результаты анализа с

применением буры? В начальной стадии, во вступительной фазе условия слишком незрелы...

— Для честности.

— Подождите секунду. Разве не честно заранее подстроить демонстрацию опыта?

— Разумеется, нечестно.

— Но ваши профессора это делают.

— Я отрицаю это *in toto* <sup>[20]</sup>, — заявил Смизерс и с довольным видом повторил: — *In toto*.

— Ну, хорошо, — сказал Лэгьюн, — но я располагаю фактами. Ваши преподаватели химии — можете пойти вниз и спросить, если не верите мне, — всегда подделывают опыты, связанные с законом сохранения вещества. Или возьмем другое — географию. Знаете ли этот опыт? Демонстрацию вращения Земли. Они используют... Они используют...

— Маятник Фуко, — подсказал Люишем. — Берут резиновый мяч с дырочкой и, сдавливая его в руке, придают маятнику нужное направление.

— Это совсем другое, — возразил Смизерс.

— Подождите секунду, — повторил Лэгьюн и достал из кармана сложенный листок бумаги, на котором был напечатан какой-то текст. — Вот статья из журнала «Природа» о работе самого профессора Гринхилла. Видите, в аппарате есть специальный стержень для наглядной демонстрации принципа возможных перемещений! Прочтите сами, если не верите мне. Вы ведь, кажется, мне не верите?

Смизерс решил отказаться от своего отрицания *in toto*.

— Я говорю совсем не об этом, мистер Лэгьюн, совсем не об этом, — сказал он. — Назначение опытов во время лекций состоит не в доказательстве фактов, а в том, чтобы внушить новые понятия.

— Это же преследовалось и на нашем сеансе, — заявил Лэгьюн.

— Нам все это представилось несколько иначе.

— Обычному слушателю лекции по естествознанию тоже все представляется иначе. Он убежден, что видит явление собственными глазами.

— Все равно, — сказал Смизерс, — злом зла не поправишь. А фальсификация опытов — зло.

— В этом я с вами согласен. Я откровенно поговорил с Чейфери. Он ведь не настоящий профессор, не высокооплачиваемое светило истинной науки, как здешние фальсификаторы опытов — профессора, поэтому с ним можно говорить откровенно: он не обидится. Он придерживается того же мнения, что и они. Я более строг. Я настаиваю, чтобы этого больше не

было...

— В следующий раз, — насмешливо подсказал Смизерс.

— Следующего раза не будет. Я покончил с элементарными демонстрациями. Вы должны поверить слову тренированного наблюдателя, как верите преподавателю на занятиях по химическому анализу.

— Вы хотите сказать, что станете продолжать опыты с этим субъектом, хотя его и поймали с поличным под самым вашим носом?

— Разумеется. А почему бы и нет?

Смизерс принялся объяснять, почему нет, и запутался.

— Я все же верю, что у этого человека есть особые способности, — сказал Лэгьюн.

— Обманывать, — добавил Смизерс.

— А это придется исключать, — сказал Лэгьюн. — Вы можете с таким же успехом отказаться от изучения электричества только потому, что его нельзя подержать в руках. Всякая новая наука неуловима. Ни один здравомыслящий исследователь не откажется исследовать какое-либо соединение только потому, что получаются неожиданные результаты. Или это вещество растворяется в кислоте, или мне нет до него никакого дела, так? Прекрасное исследование!

И вот тут-то исчезли последние остатки вежливости Смизерса.

— Мне плевать на то, что вы говорите! — закричал он. — Все это ерунда, сплошная ерунда. Доказывайте, если хотите, но разве вы кого-нибудь убедили? Поставить на голосование?

— Чрезвычайно демократично, — заметил Лэгьюн. — Всеобщие выборы истины в полгода раз, а?

— Не увличайте, — сказал Смизерс. — Демократия тут ни при чем.

Раскрасневшийся, но веселый Лэгьюн спускался уже вниз, когда его догнал Люишем. Люишем был бледен и запыхался, но поскольку лестница всегда утомляла Лэгьюна, то он не заметил волнения молодого человека.

— Интересный разговор, — выдохнул Люишем. — Очень интересный разговор, сэр.

— Искренне рад, что вам понравилось, — ответил Лэгьюн.

Наступило молчание, а затем Люишем решился на отчаянный шаг.

— Там у вас была молодая леди... Ваша секретарша...

Он остановился, ибо у него окончательно перехватило дыхание.

— Да? — удивился Лэгьюн.

— Она тоже медиум или что-нибудь в этом роде?

— Видите ли, — задумался Лэгьюн, — нет, она не медиум. Но... Почему вы спрашиваете?

— О!.. Мне просто интересно.

— Вы, наверное, заметили ее глаза. Она падчерица этого Чеффери, странная натура, но, бесспорно, одаренная медиумической силой. Удивительно, что вы обратили на это внимание. Признаться, я и сам подумывал, что, судя по ее лицу, она обладает даром духовидения.

— Чего?

— Духовидения — неразвитым, конечно. Мне это неоднократно приходило в голову. Вот только недавно я говорил о ней с Чеффери.

— Вот как?

— Да. Ему бы, естественно, хотелось видеть всякий скрытый талант развитым. Но начать, знаете ли, немного трудно.

— Она не желает, хотите вы сказать?

— Пока нет. Она хорошая девушка, но в этом отношении несколько робка. В ней замечается некоторое сопротивление — какое-то странное свойство, — можно его назвать, пожалуй, скромностью.

— Понятно, — сказал Люишем.

— Его обычно удается преодолеть. Я не теряю надежды.

— Да, — коротко согласился Люишем. Они были уже у подножия лестницы, и Люишем остановился в нерешительности. — Вы дали мне пищу для размышлений, — сказал он, стараясь казаться спокойным. — То, о чем вы говорили наверху... — И хотел отойти, чтобы расписаться в книге.

— Я рад, что вы не заняли такой непримиримой позиции, как мистер Смизерс, — сказал Лэгьюн, — очень рад. Я должен дать вам кое-что почитать. Если, конечно, у вас остается свободное время от всей этой зубрежки.

— Спасибо, — коротко поблагодарил Люишем и отошел.

Его замысловатая, с росчерком подпись на сей раз дрогнула и полезла куда-то вбок.

— Будь я проклят, если ему удастся это преодолеть, — сквозь зубы процедил Люишем.

## 15. Любовь на улицах

Люишем не совсем ясно представлял себе, какой план действий избрать в борьбе против замыслов Лэгьюна, да и вообще особой ясности в голове у него не было. Его логика, его чувства и воображение словно на смех тянули его в разные стороны. Казалось, должно было произойти что-то очень важное, а на самом деле все свелось лишь к тому, что он ежевечерне, а точнее, в течение шестидесяти семи вечеров кряду провожал Этель домой. Весь ноябрь и декабрь, каждый вечер, за исключением одного, когда ему пришлось отправиться на окраину Ист-Энда купить себе пальто, он ждал ее у подъезда, чтобы потом проводить домой. То были странные, какие-то незавершенные прогулки, на которые он торопился из дня в день, полный смутных надежд, а они неизменно оставляли у него в душе странный осадок разочарования. Начинались они ровно в пять у дома Лэгьюна и таинственно заканчивались на углу одного из Клэпхемских переулков, по которому она уходила одна между двумя рядами желтых домишек с глубокими подвалами и уродливыми каменными розетками на фасадах. Каждый вечер она уходила в серый туман и исчезала во мраке, позади тусклого газового фонаря, а он смотрел ей вслед, вздыхал и возвращался к себе домой.

Они говорили о разных мелочах, обменивались пустяковыми, незначительными фразами о себе, о своей жизни и своих вкусах, но всегда в этих беседах оставалось нечто недоговоренное, невысказанное, что делало все остальное нереальным и неискренним.

Тем не менее из этих разговоров он начал смутно представлять себе дом, в котором она жила. Прислуги у них, разумеется, не было, а мать ее была каким-то жалким, запуганным существом, способным лишь пасовать перед неприятностями. Иногда она вдруг становилась словоохотлива: «Мама порой любит поговорить». Она редко выходила из дому. Чеффери вставал поздно и, случалось, пропадал по целым дням. Он был скуп, выдавал на хозяйство всего двадцать пять шиллингов в неделю, поэтому частенько им было трудно свести концы с концами. Мать и дочь, по-видимому, были не слишком дружны; во время своего вдовства мать обнаружила некоторую ветреность, отчего репутация ее частично пострадала, а брак с Чеффери, который много лет жил у нее и столовался, вызвал немало пересудов. Чтобы ей легче было выйти замуж, она и отправила Этель в Хортли — и тем как бы соблюла приличия. Но вся эта

жизнь шла где-то далеко, в самом конце того длинного, плохо освещенного переулка на окраине, ежевечерне поглощавшего Этель, и потому представлялась Люишему нереальной. Прогулка, дыхание Этель, блеск ее глаз, легкие ее шаги рядом, ее ясный голосок и прикосновение ее руки — вот это была реальность.

Однако на всем этом лежала тень Чеффери и его мошенничества, порой чуть заметная, порой же густая и упорно напоминающая о себе. Тогда Люишем становился настойчивым, сентиментальные воспоминания прекращались, и он задавал вопросы, подводившие его к самой бездне сомнений. Помогала ли она когда-нибудь Чеффери? Нет, отвечала она. Но дома она два раза садилась за стол «пополнить цепь». Она больше никогда не будет этого делать. Это она обещает твердо, если кому-нибудь нужны ее обещания. Дома уже был страшный скандал из-за разоблачения у Лэгьюна. Мать стала на сторону отчима и вместе с ним бранила Этель. Но за что было ее бранить?

— Разумеется, не за что, — отвечал Люишем.

Лэгьюн, как узнал он от нее, три дня после сеанса терзался сомнениями и угрызениями совести, отводя душу в бесконечных монологах, единственной слушательницей которых (за двадцать один шиллинг в неделю) была Этель. Затем он решил как следует отчитать Чеффери за обман, приведший к столь горестным последствиям. Но в результате Чеффери отчитал Лэгьюна. Смизерс, сам того не ведая, в сущности, потерпел поражение от человека более умного, нежели Лэгьюн, хотя мысли этого человека и были выражены дискантом Лэгьюна.

Этель не по душе были разговоры о Чеффери и обо всех этих делах.

— Если бы вы знали, как бы мне хотелось забыть про это, — часто говорила она, — и просто погулять вдвоем с вами. — Или: — Что толку продолжать эти разговоры? — когда Люишем становился особенно настойчив.

Люишему иногда очень хотелось продолжать эти разговоры, но объяснить, какой от них толк, было несколько затруднительно. Поэтому ситуация так и оставалась до конца не выясненной, а недели шли одна за другой.

Удивительно разнообразными казались ему эти шестьдесят семь вечеров, когда он впоследствии их припоминал. Порой бывало сыро, моросил дождь, сменявшийся густым туманом, который дивной серо-белой пеленой повисал вокруг, словно стеной огораживая их на каждом шагу. Поистине нельзя было не радоваться чудесным этим туманам, ибо за ними исчезали презрительные взгляды, бросаемые прохожими на шедшую под



руку молодую пару, и можно было позволить себе тысячу многозначительных дерзостей, то пожимая, то ласково поглаживая маленькую руку в штопанной-перештопанной перчатке из дешевой лайки. И тогда совсем близко ощущалось неуловимое нечто, связывавшее воедино все, что с ними происходило. И опасности, подстерегающие на перекрестках: внезапно возникающие из мрака прямо над ними лошадиные головы с фонариками на дугах, и высокие фургоны, и уличные фонари — расплывшиеся дымчато-оранжевые пятна, если смотреть на них вблизи, и исчезающие в туманной мгле, стоит лишь отойти на двадцать шагов, — все это действительно говорило о том, как нуждается в защите эта хрупкая молоденькая девушка, уже третью зиму вынужденная в одиночку шагать сквозь туманы и опасности. Мало того, в туман можно было пройти по тихому переулку, в котором она жила, и, затаив дыхание, приблизиться чуть ли не к самому ее крыльцу.

Но туманы вскоре сменились суровыми морозами, когда ночи высвечены звездами или залиты сиянием луны, когда уличные фонари сверкают, словно цепочки желтых самоцветов, а от их льдистых отражений и блеска магазинных витрин режет глаза и когда даже звезды, суровые и яркие, уже не мерцают, а словно бы потрескивают на морозе. Летнее пальто Этель сменил жакет, опушенный искусственным каракулем, а ее шляпу — круглая каракулевая шапочка, из-под которой сурово и ярко сияли ее глаза и белел лоб, широкий и гладкий. Чудесными были эти прогулки по морозу, но они слишком быстро кончались, поэтому путь от Челси до Клэпхема пришлось удлинить петлей по боковым улочкам, а потом, когда первые мелкие снежинки возвестили о приближении рождества, наши молодые люди стали ходить еще дальше по Кингс-роуд, а раз даже по Бромтон-роуд и Слоан-стрит, где магазины полны елочных украшений и разных занимательных вещей.

Из остатков своего капитала в сто фунтов мистер Люишем тайком истратил двадцать три шиллинга. Он купил Этель золотое с жемчужинками колечко и при обстоятельствах, крайне торжественных, вручил его ей. Для этого требуется особый церемониал, и потому на краю заснеженного, окутанного туманом пустыря она сняла перчатку, и кольцо было надето на палец, после чего Люишем наклонился и поцеловал ее замерзший пальчик с испачканным чернилами ногтем.

— Мы ведем себя глупо, — сказала она. — Что с нами будет?

— Подождите, — ответил он, и в голосе его звучало обещание.

Затем он серьезно поразмыслил надо всем этим и как-то вечером снова заговорил на ту же тему, подробно описывая ей все блестящие

перспективы, которые открываются перед выпускником Южно-Кенсингтонской школы, — можно стать директором школы, преподавать где-нибудь в колледже на севере Англии, можно получить должность инспектора, ассистента, даже профессора. А потом, а потом... Все это она слушала недоверчиво, но охотно, мечты одновременно и пугали и восхищали ее.

Жемчужное колечко было надето на палец, разумеется, всего лишь ради обряда; она не могла показаться с ним ни у Лэгьюна, ни дома, поэтому ей пришлось продеть сквозь него шелковую ленточку и носить его на шее, «возле сердца». Люишему приятно было думать о том, что колечку «тепло возле ее сердца».

Покупая это кольцо, он имел намерение подарить ей его на рождество. Но желание видеть, как она обрадуется, оказалось слишком сильным.

Весь сочельник — трудно сказать, как ей удалось обмануть своих, — молодые люди провели вместе. Лэгьюн лежал с бронхитом, поэтому у его секретарши день оказался незанятым. Возможно, она просто позабыла упомянуть об этом дома. В Королевском колледже уже начались каникулы, и Люишем был свободен. Он отклонил приглашение дяди-водопроводчика: «работа» вынуждает его остаться в Лондоне, сказал он, хотя пребывание в городе означало фунт, а то и более лишних расходов. В сочельник эти неразумные молодые люди прошли пешком шестнадцать миль к расстались разогревшиеся, с пылающими щеками. В тот день стоял крепкий мороз, сыпал легкий снежок, небо было тускло-серым, на уличных фонарях висели сосульки, а на тротуары легли ветвистые морозные узоры, которые к вечеру под ногами прохожих превратились в ледяные дорожки. Они знали, что Темза под рождество являет собой удивительное зрелище, но ее они приберегли на потом. Сначала они отправились по Бромтон-роуд...

Представьте же себе их на улицах Лондона. Люишем был в пальто из магазина готового платья — синем с бархатным воротником, в грязных кожаных перчатках, с красным галстуком и в котелке; а Этель — в жакете, который она уже носит два года, и каракулевой шапочке; раздумываясь на морозе, они идут все дальше, ни за что не желая пропускать ни одного интересного зрелища, и иногда он, немного смущаясь, берет ее под руку. На Бромтон-роуд много магазинов, но разве можно их сравнить с теми, что на Пикадилли? На Пикадилли были витрины, настолько забитые всевозможными дорогами безделушками, что перед ними приходилось простаивать не меньше пятнадцати минут; лавки, где продавались рождественские открытки, и мануфактурные магазины, и всюду в окнах эти смешные забавы. Даже Люишем, несмотря на свою прежнюю вражду к

классу покупателей, оттаял; Этель же была искренне увлечена всеми этими пустяками.

Затем они пошли по Риджент-стрит, мимо магазинов с поддельными бриллиантами, мимо парикмахерских, где выставляют напоказ длинные волосы, мимо витрины, в которой бегают крошечные цыплята, потом по Оксфорд-стрит, Холборну, Ледгейт-хиллу, мимо кладбища при соборе святого Павла к Лиденхоллу и рынкам, где в тысячу рядов были развешаны индейки, гуси, утки и цыплята, но преимущественно индейки.

— Я должен вам что-нибудь купить, — сказал Люишем, возобновляя разговор.

— Нет, нет, — отказывалась Этель, не сводя глаз с бесчисленных рядов битой птицы.

— Но я должен, — настаивал Люишем. — Лучше выберите сами, иначе я куплю что-нибудь не то.

В уме у него были броши и фермуары.

— Не нужно тратить деньги, и, кроме того, у меня уже есть то кольцо.

Но Люишем был неумолим.

— Тогда... Если уж вам непременно хочется... Я умираю с голоду... Купите мне что-нибудь поесть.

Вот смешно-то! Люишем, не колеблясь, щедрым жестом халифа распахнул перед нею дверь в ресторан, где стояла благоговейная тишина и на столиках возвышались белые конусы салфеток. Они съели отбивные котлеты — обглодали их до косточки — с мелко нарезанным хрустящим картофелем и выпили вдвоем целых полбутылки какого-то столового вина, наугад выбранного Люишемом по карте. Ни он, ни она никогда раньше не обедали с вином. Вино обошлось ему ни много ни мало в шиллинг девять пенсов, и называлось оно не как-нибудь, а «Капри»! Это было довольно сносное «Капри», несомненно, крепленое, но согревающее и ароматное. Этель была поражена этой роскошью и выпила целых полтора стакана.

Затем, согревшись, в наилучшем расположении духа, они прошли мимо Тауэра, и Тауэрский мост с его снежным гребнем, огромными ледяными сосульками и застрявшими в боковых пролетах глыбами льда являл собой поистине рождественское зрелище. И поскольку они уже вдоволь нагляделись на магазины и толпу, то решительно зашагали вдоль набережной по направлению к дому.

Действительно, в том году Темза была великолепна! Обледеневшая по берегам, с плавучими льдинами посредине, в которых отражались алые отблески огромного заходящего солнца, она медленно, неуклонно плыла к морю. Над рекой металась стая чаек, а заодно с ними голуби и вороны.

Окутанные туманом здания на Саррейской стороне казались серыми и таинственными, пришвартованные к берегу, обросшие льдом баржи молчаливы и пустынные, лишь изредка можно было увидеть освещенное теплом окошко. Солнце, опустившись, погрузилось прямо в синеву, и Саррейский берег совсем растаял в тумане, если не считать нескольких непокорных пятнышек желтого света, которых с каждой секундой становилось все больше. А после того как наши влюбленные прошли под мостом у Черинг-кросс, перед ними в конце большого полумесяца из золотистых фонарей, где-то посередине между небом и землей, предстали еле различимые в голубоватой дымке здания Парламента. И часы на Тауэре были похожи на ноябрьское солнце.

Это был день без единого пятнышка, ну разве что с пятнышком самым крохотным. И то появилось оно в конце.

— До свидания, дорогой, — сказала она. — Я была очень счастлива сегодня.

Его лицо приблизилось к ее лицу.

— До свидания, — ответил он, пожимая ей руку и заглядывая в глаза.

Она оглянулась и прижалась к нему.

— Любимый, — шепнула она одними губами, а потом добавила: — До свидания.

Внезапно Люишем неведомо отчего вспыхнул и выпустил ее руку.

— Вот всегда так. Мы счастливы. Я счастлив. А потом... потом вам нужно уходить...

Наступило молчание, полное немых вопросов.

— Милый, — шепнула она, — мы должны ждать.

Минутное молчание.

— Ждать? — повторил он и замолчал. Он был в нерешительности. — До свидания, — сказал он, вновь обрывая нить, которая связывала их воедино.

## 16. Тайные мысли мисс Хейдингер

Дороги из Челси в Клэпхем и из Южного Кенсингтона в Баттерси, особенно если первая специально идет в обход, чтобы быть немного подлиннее, пролегают очень близко друг от друга. Однажды вечером, незадолго до рождества, две сокурсницы Люишема встретили его вместе с Этель. Люишем их не заметил, потому что смотрел только на Этель.

— Видали? — не без тайного умысла спросила одна у другой.

— Как будто мистер Люишем? — отозвалась мисс Хейдингер тоном полнейшего равнодушия.

Мисс Хейдингер сидела в комнате, которую ее младшие сестры называли «святая святых». Эта комната представляла собой не что иное, как интеллектуальную спальню, в которой серебряные розы на дешевых обоях кокетливо переглядывались из-за спинок мягких кресел. Предметами особой гордости владелицы сей обители служили стоявший посредине комнаты письменный стол и установленный на шатком восьмиугольном столике возле окна микроскоп. На стенах размещались книжные полки — изделия явно женских рук, судя по их украшениям и шаткости конструкций, а на них — множество томиков с золотыми корешками: стихи Шелли, Россетти, Китса и Броунинга, а также разрозненные тома сочинений Рескина, сборник проповедей, социалистические брошюры в рваных бумажных обложках и, кроме того, подавляющее изобилие учебников и тетрадей. Развешанные на стенах автотипии красноречиво свидетельствовали об эстетических устремлениях их владелицы и о некоторой ее слепоте к внутреннему смыслу, произведений искусства. Среди них были «Зеркало Венеры» Берн-Джонса, «Благовещение» Россети, «Благовещение» Липпи и «Иллюзии жизни» и «Любовь и смерть» Уотса<sup>[21]</sup>. Среди фотографий был и снимок комитета Дискуссионного клуба, на котором в центре тускло улыбался Люишем, а мисс Хейдингер с правой стороны получилась не в фокусе. Мисс Хейдингер сидела спиной ко всем этим сокровищам в черном кожаном кресле и, опершись подбородком на руку, воспаленными глазами смотрела в огонь.

— Могла бы догадаться раньше, — говорила она. — После того сеанса все стало по-другому...

Она горько улыбнулась.

— Какая-нибудь продавщица...

— Все они одинаковы, — размышляла она. — Потом возвращаются чуточку подпорченными, как говорит та женщина из «Веера леди Уиндермир». Быть может, вернется и он. Кто знает...

— Но почему он так хитрит со мной? Почему он скрывает?

— Хорошенькая, хорошенькая, хорошенькая — вот все, что им надо. Какой мужчина усомнится в выборе? Он идет своим путем, думает по-своему, делает по-своему...

— Он отстал по анатомии. Разумеется, ведь он ничего не записывает...

Долгое время она молчала. Ее лицо стало еще более сосредоточенным. Она начала кусать большой палец, сначала медленно, потом быстрее. И наконец разразилась новой тирадой:

— А сколько он мог бы сделать! Он способный, настойчивый, сильный. И вот появляется смазливое личико! О боже! Почему ты даровал мне сердце и разум?

Она вскочила, стиснула руки, лицо ее исказилось. Но слез не было.

И тут же она поникла. Одна рука безвольно опустилась, другая облокотилась на каминную доску, и она снова устремила взгляд в яркое пламя.

— Подумать только, сколько мы могли бы сделать! Это сводит меня с ума!

— Нужно работать, думать и учиться. Надеяться и ждать. Презирать мелочные ухищрения, к которым прибегают женщины, верить в здравый смысл мужчины...

— И проснуться одураченной старой девой, — добавила она, — убедившись, что жизнь прошла!

Теперь ее лицо, ее поза выражали жалость к самой себе.

— Все напрасно...

— Все бесполезно... — Голос ее сорвался.

— Я никогда не буду счастлива...

Картина того величественного будущего, которую она лелеяла, отодвинулась и исчезла, все более и более прекрасная по мере удаления, как сон в минуту пробуждения. А на смену ей пришло видение неизбежного одиночества, ясное и четкое. Она видела себя бесконечно жалкой, одинокой и маленькой в огромной пустыне и Люишема, который уходил все дальше и дальше, не обращая на нее никакого внимания. «С какой-то продавщицей». Хлынули слезы, быстрее, быстрее, они залили все лицо. Она повернулась, словно чего-то ища, потом упала на колени перед маленьким креслом и, всхлипывая, принялась бессвязно шептать молитву,

прося у бога жалости и утешения.

На следующий день одна из студенток биологического курса заметила своей приятельнице, что «Хейдингер снова растрепана». Ее подружка оглядела лабораторию.

— Плохой признак, — согласилась она. — Честное слово... Я не могла бы... ходить с такой прической.

Она продолжала критическим оком рассматривать мисс Хейдингер. Это было нетрудно, потому что мисс Хейдингер стояла, задумавшись, и глядела в окно на декабрьский туман.

— Какая она бледная! — сказала первая девица. — Наверное, много работает.

— А что от этого толку? — сказала ее приятельница. — Вчера я спросила у нее, какие кости составляют теменную часть черепа, и она не знала. Ни одной.

На следующий день место мисс Хейдингер оказалось свободным. Она заболела — от переутомления, и болезнь ее продолжалась до тех пор, пока до экзаменов не осталось всего три недели. Тогда она вернулась, бледная, полная деятельной, но бесплодной энергии.

## 17. В рафаэлевской галерее

Еще не было трех, но в биологической лаборатории горели все лампы. Студенты работали вовсю, бритвами делая срезы с корня папоротника для исследования под микроскопом. Один молчаливый, чем-то напоминающий лягушку юноша, вольнослушатель, который в дальнейшем не будет играть никакой роли в нашем повествовании, трудился изо всех сил, и оттого в его сосредоточенном, скромном лице лягушачьего было еще больше, чем обычно. Место позади мисс Хейдингер, у которой снова, как и прежде, был неряшливый и небрежный вид, пустовало, стоял микроскоп, за которым никто не работал, в беспорядке валялись карандаши и тетради.

На двери висел список выдержавших экзамены за первый семестр. Во главе списка красовалась фамилия вышеупомянутого лягушкоподобного юноши, за ним, объединенные общей скобкой, шли Смизерс и одна из студенток. Люишем бесславно возглавлял тех, кто сдал по второму разряду, а фамилия мисс Хейдингер вообще не упоминалась, ибо, как извещал список, «один из студентов не выдержал экзаменов». Так приходится расплачиваться за высокие чувства.

А в пустынных просторах музейной галереи, где экспонировались этюды Рафаэля, сидел погруженный в угрюмые размышления Люишем. Небрежной рукой он дергал себя за теперь уже явно заметные усы, особое внимание уделяя их концам, достаточно длинным, чтобы их кусать.

Он пытался отчетливо представить себе создавшееся положение. Но поскольку он остро переживал свою неудачу на экзаменах, то, естественно, разум его не в состоянии был работать ясно. Тень этой неудачи лежала на всем, она унижала его гордость, пятнала его честь, теперь все представлялось ему в новом свете. Любовь с ее неисчерпаемым очарованием отошла куда-то на задний план. Он испытывал дикую ненависть к лягушкоподобному юноше. И Смизерс тоже оказался предателем. Он не мог не злиться на тех «зубрил» и «долбил», которые все свое время посвящали подготовке к этим дурацким экзаменам, представлявшим собою не что иное, как лотерею. Устный экзамен никак нельзя было назвать справедливым, а один из вопросов, доставшихся ему на письменном, вовсе не входил в прочитанный на лекциях материал. Байвер, профессор Байвер, Люишем был убежден, — настоящий осел в своем огульном подходе к студентам, да и Уикс, его ассистент, не лучше. Но все эти рассуждения не могли заслонить от Люишема явной причины



его провала — неразумной траты изо дня в день половины вечернего времени, лучшего времени для занятий из всех двадцати четырех часов в сутки. И эта утечка времени продолжается. Сегодня вечером он опять встретится с Этель, и с этого начнется для него подготовка к новому бесславному поражению — на этот раз по курсу ботаники. Таким образом, неохотно отказываясь от одного смутного оправдания за другим, он наконец ясно представил себе, насколько его отношения с Этель противоречат его честолюбивым устремлениям.

За последние два года ему так легко все давалось, что он уже считал свой успех в жизни обеспеченным. Ему и в голову не приходило, когда он отправился встретить Этель после того злополучного сеанса, что эта встреча будет иметь опасные для него последствия. Теперь же он весьма остро ощутил их на себе. Он принялся рисовать себе лягушкоподобного юношу в домашней обстановке — этот молодой человек был из зажиточной буржуазной семьи: сидит, наверное, в уютном кабинете за письменным столом, вокруг книжные полки и лампа под абажуром — сам Люишем работал у комода вместо стола, накинув на плечи пальто, а ноги, засунув в нижний ящик, закутывал всем что ни попало — и в этом невероятном комфорте работает, работает, работает... А Люишем тем временем тащится по туманным улицам в направлении к Челси или, распрощавшись с нею, полный глупых фантазий, бредет домой.

Он попытался трезво и беспристрастно оценить свое отношение к Этель. Он старался быть объективным, он не хотел лгать самому себе. Он любит, ему нравится быть с нею, разговаривать с нею, делать ей приятное, но этим не ограничиваются его желания. Ему припомнились горькие слова одного оратора в Хэммерсмите, который жаловался, что современная цивилизация отказывает человеку в удовлетворении даже элементарной потребности иметь семью. Добродетель превратилась в порок, говорил этот оратор. «Мы женимся со страхом и трепетом, любовь у домашнего очага — удел только женщины, мужчина же осуществляет желание своего сердца лишь тогда, когда желание это уже мертво». Эти слова, которые показались ему тогда пустой риторикой, теперь предстали перед ним в виде устрашающей истины. Люишем понял, что стоит на распутье. С одной стороны — лестница к блестящей славе и власти, что было его мечтой чуть ли не с самого детства, с другой — Этель.

И выбери он Этель, получит ли он то, что выбрал? Чем это может обернуться? Несколькими прогулками больше или меньше! Она безнадежно бедна, безнадежно беден и он, а этот мошенник-медиум — ее отчим! Кроме того, она недостаточно образована, не понимает его работы и

его устремлений...

Он вдруг совершенно отчетливо осознал, что после того сеанса ему нужно было пойти домой и забыть ее навсегда. Откуда у него появилась эта непреодолимая потребность ее разыскать? Зачем его воображение сплело вокруг нее такую странную сеть возможностей? Он запутался, глупо запутался... Все его будущее принесено в жертву этому мимолетному уличному роману. Он злобно дернул себя за ус.

Люишему стало казаться, будто Этель, ее загадочная мамаша и ловкий мошенник Чэффери опутывают его невидимой сетью и тянут назад от блестящего и славного восхождения на вершину совершенства и славы. Дырявые башмаки и брызги грязи от проезжающих мимо экипажей — вот его удел! Можно считать, что и медаль Форбса — первый шаг на пути к славе — уже потеряна...

О чем он только думал? Всему виной его воспитание. В семьях, принадлежащих к крупной и средней буржуазии, родители вовремя предостерегают своих детей от подобного рода увлечений. Молодые люди знают, что любовь для них допустима только тогда, когда они по-настоящему станут самостоятельными. И так гораздо лучше...

Все рушится. Не только его работа, его научная карьера, но и участие в деятельности Дискуссионного клуба, в политическом движении, весь его труд на благо человечества... Почему не проявить решимость даже сейчас?.. Почему не объяснить ей все просто и ясно? Или написать? Если он сейчас же напишет, то сумеет еще нынче вечером посидеть в библиотеке. Он должен просить ее отказаться от совместных прогулок... по крайней мере до конца следующей экзаменационной сессии. Она поймет. Он сразу усомнился, поймет ли она... И рассердился на нее за это. Но к чему ходить вокруг да около? Раз уж он решил не думать о ней... Но почему он должен думать о ней так плохо? Да просто потому, что она неблагоразумна!

И снова чувство гнева на мгновение овладело им.

Тем не менее отказ от прогулок казался ему подлостью. И она сочтет это подлостью. Что было еще хуже. Но почему подлостью? Почему она должна счесть это подлостью? Он опять рассердился.

Дородный музейный служитель, который исподтишка наблюдал за ним, дивясь, чего ради студент сидит перед «Жертвоприношением Листры», кусает губы, ногти и усы и то хмурится, то пристально вглядывается в картину, вдруг увидел, как он решительно вскочил, круто повернулся на каблуках, быстрым шагом, не глядя по сторонам, вышел из галереи и скрылся из виду на лестнице.

— Побежал, наверное, раздобыть еще усов, эти уж все съел, — рассудил слуга. — Сорвался так, словно его кто ужалил.

Поразмыслив над этим еще несколько секунд, слуга тронулся вдоль по галерее и остановился перед картиной.

— Фигуры вроде бы великоваты по сравнению с домами, — заметил он, стараясь быть беспристрастным. — Да ведь на то и искусство. Сам-то он, небось, так не нарисовал бы, куда ему.

## 18. «Друзья прогресса» встречаются

И вот к вечеру через день после этих размышлений в мире воцарился новый порядок. Молодая леди, одетая в опушенный поддельным каракулем жакет, значительно Погрустневшая, возвращалась из Челси домой в Клэпхем без спутника, а Люишем сидел в Педагогической библиотеке под мерцающим светом электрической лампочки и рассеянным взором смотрел куда-то в пространство поверх внушительной груды книг.

Этот новый порядок был введен не без трения, и разговор оказался не из легких. Она, по-видимому, недостаточно серьезно отнеслась к тому факту, что Люишем занял весьма невысокое место в описке студентов. «Но вы же сдали экзамены», — сказала она. Не сумела она уловить и значения, придаваемого им вечерним занятиям. «Я, конечно, не знаю, — рассуждала она, — но мне казалось, что вы и так занимаетесь весь день». Она считала, что на прогулку уходит всего полчаса, «всего каких-то полчаса», забывая, что ему нужно сначала доехать в Челси, а потом из Клэпхема вернуться домой. Ее всегдашняя кротость сменилась явной обидой. Сначала на него, а потом, когда он принялся ее убеждать, на судьбу.

— Наверное, так уж суждено, — сказала она. — Да, наверное, не столь уж важно, если мы будем видеться реже, — добавила она побелевшими, дрожащими губами.

Расставшись с нею, он в тревожных думах вернулся домой и весь вечер сочинял письмо, которое должно было ей все объяснить. Но от занятий наукой стиль у него стал «сухим», и то, что он способен был прошептать на ухо, написать был не в силах. Все его доводы казались неубедительными. И Этель, как видно, не очень-то воспринимала доводы разума. Сомнения продолжали его одолевать, и он сердился на нее за неумение смотреть на вещи так, как смотрит на них он. Он бродил по музею, ведя с нею воображаемые споры и бросая едкие замечания. Но бывали минуты, когда ему приходилось призывать на помощь всю свою дисциплинированность и припоминать все ее обидные возражения, чтобы не броситься со всех ног в Челси и не капитулировать самым недостойным образом.

Новый порядок длился две недели. Мисс Хейдингер с первых же дней обнаружила, что неудача на экзаменах произвела в Люишеме перемену. Она заметила также, что вечерние прогулки его прекратились. Сразу стало заметно, что он работает с каким-то новым, яростным упорством; он

приходил рано, уходил поздно. Здоровый румянец на его щеках поблек. Ежевечерне допоздна его можно было видеть среди схем и учебников в одном из тех уголков Педагогической библиотеки, где поменьше сквозило, а куча тетрадей, куда он заносил нужные ему сведения, все росла. И ежевечерне, сидя в студенческом клубе, он писал письма, адресованные в лавку канцелярских принадлежностей в Клэпхеме, но этого мисс Хейдингер видеть уже не могла. Письма эти большей частью были короткие, ибо Люишем по обычаю студентов Южно-Кенсингтонского колледжа гордился отсутствием у себя дара к «сочинительству», и эти сугубо деловые послания ранили сердце, жаждавшее нежных слов.

Попытки мисс Хейдингер возобновить дружбу он встретил не слишком благожелательно. Тем не менее кое-какие отношения восстановились. Временами он заводил в нею любезные беседы, но вдруг обрывал себя на полуслове. Однако она снова стала снабжать его книгами, упорствуя в изобретенном ею способе утонченного эстетического воспитания.

— Вот книга, которую я вам обещала, — как-то сказала она, и ему пришлось припомнить ее обещание.

Это был сборник стихов Броунинга, в число которых входил и «Сладж». Случайно в этом сборнике оказалась и «Статуя и бюст» — это вдохновенное рассуждение о запретах, налагаемых на себя против велений сердца. «Сладж» не заинтересовал Люишема, он вовсе не соответствовал его представлению о медиуме, но «Статую и бюст» Люишем читал и перечитывал. Эти стихи произвели на него глубочайшее впечатление. Он заснул — обычно он читал в постели: так было теплее, а над художественной литературой не грех и вздремнуть немного, другое дело — наука, — со следующими строками в голове, которые сильно его взволновали:

Недели переходят в месяцы, годы; луч за лучом  
Сиянье уходит из их юности и любви,  
И оба поняли, что это был лишь сон.

И вот, вероятно, как плод посеянных таким образом семян, в ту ночь ему действительно приснился сон. Снилось ему Этель, наконец-то он стал ее мужем. Он привлекает ее в свои объятия, наклоняется поцеловать ее и вдруг видит, что губы ее ссохлись, глаза потускнели, а лицо изборозжено морщинами! Она стала старой! Ужасно старой! Он проснулся в страхе и до

самого рассвета лежал подавленный, не смыкая глаз, и думал об их разлуке и о том, как она в одиночестве пробирается по грязным улицам, о своем положении, об утраченном времени и о своих возможностях в жизненной борьбе. Он увидел истину без прикрас: Карьера для него почти недоступна, Карьера и Этель — это уж вовсе немыслимо. Совершенно очевидно, что надо выбирать одно из двух. Если же проявить нерешительность — значит потерять и то и другое. И тут на смену отчаянию пришел гнев, какой вызывают в человеке постоянно подавляемые желания...

А вечером на следующий день, после того, как ему приснился сон, он грубо оскорбил Парксона. Случилось это после заседания «Друзей прогресса», состоявшегося у Парксона на квартире.

В наши дни среди английских студентов нет таких, кто осуществлял бы благородный идеал простой жизни и возвышенных мыслей. Наша превосходная система экзаменов вообще почти не допускает мыслей, ни возвышенных, ни низменных. Но по крайней мере жизнь кенсингтонского студента от благополучия далека, и он по временам делает попытки постичь начала мироздания.

Подобного рода попыткой и были периодические встречи «Друзей прогресса» — общества, порожденного докладом Люишема о социализме. Цель общества состояла в ревностном служении делу совершенствования мира, но пока никаких решительных действий в этом направлении не предпринималось.

Встречи членов общества происходили в гостиной Парксона; только у него и была гостиная, поскольку он получал Уитуортскую стипендию в сто фунтов в год. «Друзья» были разного возраста, в основном совсем юные. Одни курили, иные держали в руках погасшие трубки, но пили все только кофе, ибо на другие напитки у них не было средств. На этих собраниях присутствовал и Данкерли, ныне младший учитель в одной из пригородных школ Лондона и бывший коллега Люишема по Хортли, которого к Парксону и привел Люишем. Красные галстуки носили все члены общества, за исключением Бледерли — на нем был оранжевый галстук, символ причастности его владельца к искусству; галстук же Данкерли был черный с синими крапинками, потому что учителям небольших частных школ приходится строго блюсти правила приличия. Немудреный порядок их собрания сводился к тому, что каждый говорил столько, сколько ему позволяли другие.

Обычно самозванный «Лютер социализма» — чудака этот Люишем! — выступал с каким-нибудь сообщением, но в тот вечер он был подавлен и рассеян. Он сидел, перекинув ноги через ручку кресла, что некоторым

образом свидетельствовало о состоянии его духа. При нем была пачка алжирских сигарет (двадцать штук на пять пенсов), и он словно задался целью выкурить их все за вечер. Бледерли собирался выступить с докладом на тему «Женщины при социализме», а поэтому принес с собой огромный том американского издания Шелли и сборник стихов Теннисона с «Принцессой», щетинившиеся бумажными закладками в тех местах, откуда он собирался приводить цитаты. Он стоял целиком за уничтожение «монополии» брака и за замену семьи яслями. Говорил он настойчиво, убедительно, впадая в возвышенный тон, но все равно его точку зрения, кажется, никто не разделял.

Парксон был уроженцем Ланкашира и благочестивым квакером; третья же и дополняющая его особенность состояла в увлечении Рескином, чьими идеями и фразами он был пропитан насквозь. Он с явным неодобрением выслушал Бледерли и выступил с яростной защитой старинной традиции верности и семьи, которую Бледерли назвал монополистическим институтом брака.

— С меня достаточно старой теории, чистой и простой теории, любви и верности, — заявил Парксон. — Если мы будем марать наше политическое движение такого рода идеями...

— Оправдывает ли она себя? — вмешался Люишем, заговорив впервые за весь вечер.

— Что именно?

— Ваша чистая и простая старая теория. Я знаю теорию. Я верю в теорию. Бледерли просто начитался Шелли. Но это только теория. Вы встречаете девушку, предназначенную вам судьбой. По теории вы можете встретить ее когда угодно. Вы встречаете ее, когда вы еще слишком молоды. Вы влюбляетесь. Вы женитесь, несмотря на все препятствия. Любовь смеется над преградами. У вас появляются дети. Такова теория, но она хороша лишь для человека, которому отец оставит пятьсот фунтов в год. А как быть приказчику в магазине? Или младшему учителю вроде Данкерли? Или... мне?

— В подобных случаях рекомендуется воздержание, — ответил Парксон. — Наберитесь терпения. Если есть чего ждать, стоит подождать.

— И состариться в ожидании? — спросил Люишем.

— Человек должен бороться, — сказал Данкерли. — Мне не понятны ваши сомнения, Люишем. Борьба за существование, несомненно, сурова, страшна... и все же бороться следует. Нужно объединить силы и, действуя сообща, бороться за счастье вместе. Если бы я встретил девушку, которая бы мне так понравилась, что я захотел бы на ней жениться, я сделал бы это

завтра же. А красная цена мне — семьдесят фунтов на месте приходящего учителя без содержания.

Люишем, оживившись, окинул его заинтересованным взглядом.

— Женились бы? — спросил он.

Данкерли чуть покраснел.

— Не задумываясь. А почему бы и нет?

— Но на что бы вы жили?

— Об этом потом. Если бы...

— Не могу согласиться с вами, мистер Данкерли, — вмешался Парксон. — Не знаю, довелось ли вам читать «Сезам и лилии»<sup>[22]</sup>, но именно там обрисован — гораздо лучше, нежели сумею своими словами изложить я, — идеал назначения женщины...

— Чепуха этот ваш «Сезам и лилии», — перебил его Данкерли. — Пробовал читать. До конца не мог добраться. Вообще не терплю Рескина. Слишком много предлогов. Язык, разумеется, потрясающий, но не в моем вкусе. Такую вещь должна читать дочь оптового торговца бакалейными товарами: пусть развивает в себе тонкий вкус. Мы же не в состоянии позволить себе утонченность.

— Неужели вы действительно женились бы? — продолжал любопытствовать Люишем, глядя на Данкерли с небывалым восхищением.

— А почему бы и нет?

— На... — не решился продолжать Люишем.

— На сорок фунтов в год? Да! Глазом не моргнув.

Молчавший до сих пор юнец, прокашлявшись, изрек:

— Смотря какая девушка.

— Но почему непременно жениться? — настаивал забытый всеми Бледерли.

— Вы должны согласиться, что требуете слишком многого, когда хотите, чтобы девушка... — начал Парксон.

— Не так уж много. Если девушка остановила свой выбор на каком-то человеке и он тоже выбрал ее, место ее рядом с ним. Что пользы от пустых мечтаний? Да еще совместных? Боритесь вместе.

— Замечательно сказано! — воскликнул взволнованный Люишем. — Ваши слова — речь мужчины, Данкерли. Пусть меня повесят, если это не так.

— Место женщины, — настаивал Парксон, — у домашнего очага. А когда домашнего очага нет... Я убежден, что в случае необходимости мужчина должен, обуздывая свои страсти, трудиться в поте лица, как трудился семь лет ради Рахили Иаков, и создать для женщины удобный и



уютный дом...

— Клетку для красивой птички? — перебил его Данкерли. — Нет. Я говорю о женитьбе на женщине. Женщины всегда принимали участие в борьбе за существование — большой беды от этого пока не было — и всегда будут принимать. Потрясающая идея — это борьба за существование. Единственная разумная мысль из всего, что вы говорили, Люишем. Женщина, которая не борется по мере сил своих бок о бок с мужчиной, женщина, которую содержат, кормят и ласкают, это... — Он не решился докончить.

Юноша с прыщеватым лицом и короткой трубкой в зубах подсказал ему слово из библии.

— Это уж чересчур, — ответил Данкерли. — Я хотел сказать: «наложница в гареме».

Юноша на мгновение смутился.

— Лично я — курящий, — сказал он.

— От крепкого табака может стошнить, — возразил Данкерли.

— Чистоплуйство вульгарно, — последовал запоздалый ответ любителя крепкого табака.

Для Люишема эта часть вечера была по-настоящему интересна. Вскочив, Парксон принес «Сезам и лилии» и заставил всех выслушать длинный сладкозвучный отрывок, который, словно машиной для стрижки газонов, прошелся по спору, утихомирив страсти, а затем центром нового спора стал Бледерли, обруганный и оставшийся в одиночестве. Со стороны студентов Южно-Кенсингтонского колледжа, по крайней мере, институту брака непосредственная опасность не угрожала.

В половине одиннадцатого Парксон вышел вместе со всеми остальными, чтобы немного пройтись. Вечер для февраля был теплый, а молодая луна яркой. Парксон пристроился к Люишему и Данкерли, к великому неудовольствию Люишема, который намеревался в этот вечер обсудить кое-какие личные темы со своим решительным другом. Данкерли жил в северной части города, поэтому они втроем направились по Эгсибишн-роуд к Хай-стрит в Кенсингтоне. Там Люишем и Парксон расстались с Данкерли и пошли в Челси, где была квартира Люишема.

Парксон был одним из тех поборников добродетели, для которых разговоры об отношениях полов представляют собой непреодолимый соблазн. Во время дебатов в гостиной ему не удалось наговориться вволю. В споре с Данкерли он стремился затронуть самые деликатные вопросы, и теперь, оставшись с Люишем наедине, изливал на него поток все более откровенного красноречия. Люишем был в отчаянии. Он не шел, а бежал и

думал только о том, как бы ему отделаться от Парксона. Парксон же, в свою очередь, думал только о том, как бы рассказать Люишему побольше «интересных» секретов о себе и об одной особе с душой необыкновенной чистоты, о которой Люишем уже слышал прежде.

Прошла, казалось, целая вечность.

Внезапно Люишем сообразил, что стоит под фонарем и ему показывают чью-то фотографию. На снимке было изображено лицо с неправильными и удивительно невыразительными чертами, верх весьма претенциозного туалета и завитая челка. При этом ему внушалось, что девушка на фотографии — образец чистоты и что она составляет неотъемлемую собственность Парксона. Парксон горделиво поглядывал на Люишема, видимо, ожидая приговора.

Люишем боролся с желанием сказать правду.

— Интересное лицо, — наконец вымолвил он.

— Поистине прекрасное лицо, — спокойно, но с убеждением заявил Парксон. — Вы заметили ее глаза, Люишем?

— О да, — ответил Люишем. — Да. Глаза я заметил.

— Они олицетворение... невинности. Это глаза младенца.

— Да, пожалуй. Очень славная девушка, старина. Поздравляю вас. Где она живет?

— Такого лица вы в Лондоне не видели, — сказал Парксон.

— Не видел, — решительно подтвердил Люишем.

— Эту фотографию я бы показал далеко не каждому, — сказал Парксон. — Вы вряд ли представляете себе, что значит для меня эта чистая сердцем, изумительная девушка!

Глядя на Люишема с видом человека, совершившего обряд побратимства, он торжественно вложил фотографию обратно в конверт. Затем по-дружески взяв его под руку — чего Люишем терпеть не мог, — пустился в многословные рассуждения о любви с эпизодами из жизни своего Идеала для иллюстрации. Это было довольно близко направлению мыслей самого Люишема, и потому он невольно прислушивался. Время от времени ему приходилось подавать реплики, и он испытывал нелепое желание — хотя ясно сознавал, что оно нелепо, — ответить откровенностью на откровенность. Необходимость бежать от Парксона становилась все очевиднее — Люишем терял самообладание от столь противоречивых желаний.

— Каждому человеку нужна путеводная звезда, — говорил Парксон, и Люишем выругался про себя.

Дом, где жил Парксон, теперь находился совсем близко слева от них, и

Люишему пришло в голову, что если он проводит Парксона домой, то скорее сумеет от него отделаться. Парксон, продолжая свои излияния, машинально согласился.

— Я часто видел вас беседующим с мисс Хейдингер, — сказал он. — Извините меня за нескромность...

— Мы с ней большие друзья, — подтвердил Люишем. — Ну, вот мы и дошли до вашей берлоги.

Парксон воззрился на свою «берлогу».

— Но мне еще очень о многом нужно с вами поговорить. Я, пожалуй, провожу вас до Баттерси. Ваша мисс Хейдингер, хотел я сказать...

С этого места он все время делал случайные намеки на воображаемую близость Люишема к мисс Хейдингер, и каждый такой намек раздражал Люишема все больше и больше.

— Увидите, Люишем, пройдет немного времени, и вы тоже начнете познавать, как бесконечно очищает душу невинная любовь...

И тут, неизвестно почему, смутно надеясь, впрочем, приостановить таким образом неистощимую болтовню Парксона, Люишем пустился в откровенность.

— Я знаю, — сказал он. — Вы говорите со мной, словно... Уже три года, как судьба моя решена.

Как только он высказался, желание быть откровенным умерло.

— Неужели вы хотите сказать, что мисс Хейдингер... — спросил Парксон.

— К черту мисс Хейдингер! — вскричал Люишем и вдруг невежливо, ни с того, ни с сего повернулся к Парксону спиной и зашагал в противоположном направлении, бросив своего спутника на перекрестке с неоконченной фразой на устах.

Парксон изумленно поглядел ему вслед, а потом вприпрыжку бросился за ним, чтобы выяснить причину его странного поступка. Некоторое время Люишем молча шагал с ним рядом. Потом внезапно повернулся. Лицо у него было совершенно белое.

— Парксон, — усталым голосом сказал он, — вы дурак!.. У вас не лицо, а морда овцы, манеры буйвола, а говорить с вами — сплошная тоска. Чистота!.. У девушки, фотографию которой вы мне показали, просто косоглазие. И сама она совершенная уродина, впрочем, иного от вас и не приходится ожидать... Я не шучу... Уходите!

Дальше Люишем шагал в южном направлении один. Он не пошел прямо к себе домой в Челси, а провел несколько часов на улице в Баттерси, разгуливая взад и вперед перед одним домом. Он уже больше не бесился,

но испытывал тоску и нежность. Если бы он мог нынче же вечером увидеть ее! Теперь он знал, чего хочет. Завтра же он плюнет на занятия и выйдет встретить ее. Слова Данкерли придали его мыслям удивительно новое направление. Если бы только увидеть ее сейчас!

Его желание исполнилось. На углу улицы его обогнали две фигуры. Высокий мужчина в очках и шляпе, похожей на головной убор священника, с воротником, поднятым до седых бакенбард, был сам Чейфери, его спутница тоже была хорошо известна Люишему. Пара прошла мимо, не заметив его, но на мгновение свет уличного фонаря осветил ее лицо, и оно показалось ему бледным и усталым.

Люишем замер на углу, в немом изумлении глядя вслед этим двум фигурам, удалявшимся под тусклым светом фонарей. Он был ошеломлен. Часы медленно пробили полночь. Издалека донесся стук захлопнувшейся за ними двери.

Еще долго после того, как замерло эхо, стоял он там. «Она была на сеансе, она нарушила обещание. Она была на сеансе, она нарушила обещание», — бесконечно повторяясь, стучало у него в мозгу.

Объяснение не заставило себя ждать: «Она поступила так, потому что я ее бросил. Мне следовало бы это понять из ее писем. Она поступила так, потому что считает, что я отношусь к ней несерьезно, что моя любовь — всего лишь ребячество...

Я знал, что она никогда меня не поймет!»

## 19. Люишем принимает решение

На следующее утро Лэгьюн подтвердил догадку Люишема о том, что Этель, уступив уговорам, согласилась наконец испробовать свои силы в угадывании мыслей.

— Начало есть, — рассказывал Лэгьюн, потирая руки. — Мы с ней поладим, я уверен. У нее определенно имеются способности. Я всегда чувствовал это по ее лицу. У нее есть способности.

— И долго ее пришлось... уговаривать? — с трудом выговорил Люишем.

— Да, признаться, нам было нелегко. Нелегко. Однако я дал ей понять, что едва ли она сможет остаться у меня в должности секретарши, если откажется проявить интерес к моим исследованиям.

— Вы так и сказали?

— Пришлось. К счастью, Чэффери — это была его мысль, должен признаться...

От удивления Лэгьюн запнулся на полуслове. Люишем как-то нелепо взмахнул руками, повернулся и побежал прочь. Лэгьюн вытаращил глаза, впервые столкнувшись с таким психическим явлением, которое выходило за пределы его понимания.

— Странно! — пробормотал он и начал распаковывать свой портфель. Время от времени он останавливался и озирался на Люишема, который сидел на своем месте и барабанил по столу пальцами.

В это время из препаратной вышла мисс Хейдингер и обратилась к молодому человеку с каким-то замечанием. Он ответил, по-видимому, предельно коротко, затем встал, мгновение помешкал, выбирая между тремя дверями лаборатории, и, наконец, исчез за той, что вела на лестницу черного хода. До вечера Лэгьюн больше его не видел.

В тот вечер Этель снова возвращалась в Клэпхем в сопровождении Люишема, и разговор их был, по-видимому, серьезным. Она не пошла прямо домой, а вместе с Люишем мимо газовых фонарей направилась на темные просторы Клэпхемского пустыря, где можно было поговорить без помехи. И этот вечерний разговор явился решающим для них обоих.

— Почему вы нарушили свое обещание? — спросил Люишем.

Ее оправдания были путанными и неубедительными.

— Я думала, что вам теперь уж безразлично, — говорила она. — Когда вы перестали приходить на наши прогулки, мне показалось, что теперь уже

все равно. Кроме того, это совсем не то, что спиритические сеансы...

Сначала Люишем был беспощаден в своем гневе. Злость на Лэгьюна и Чеффери ослепляла его, и он не видел, как она страдает. Все ее возражения он отвергал.

— Это обман, — говорил он. — Даже если то, что вы делаете, и не обман, все равно это — заблуждение, то есть бессознательный обман. Даже если в этом есть хоть частица истины, все равно это плохо. Правда или нет — все равно плохо. Почему они не читают мысли друг у друга? Зачем им нужны вы? Ваш разум принадлежит только вам. Он священен. Производить над вами опыты? Я этого не позволю! Я этого не позволю! На это, по крайней мере, я полагаю, у меня есть право. Подумать не могу, как вы там сидите... с завязанными глазами. И этот старый дурак кладет вам на затылок руку и задает вопросы. Я этого не позволю! Я лучше убью вас, чем допущу это!

— Ничего подобного они не делают!

— Все равно еще будут делать. Повязка на глаза — только начало. Нельзя зарабатывать на жизнь таким путем. Я много думал над этим. Пусть читают мысли своих дочерей, гипнотизируют своих тетюшек, но оставят в покое своих секретарш.

— Но что же мне делать?

— Только не это. Есть вещи, которые, что бы ни было, нельзя позволять. Честь! Только потому, что мы бедны... Пусть он уволит вас! Пусть он вас уволит! Вы найдете себе другое место...

— Но мне не будут платить гинею в неделю.

— Будете получать меньше.

— Но я же отдаю каждую неделю шестнадцать шиллингов.

— Это не имеет значения.

Она подавила рыдание.

— Покинуть Лондон... Нет, не могу. Не могу.

— Почему покинуть Лондон? — Люишем изменился в лице.

— О, жизнь так жестока! — всхлипнула она. — Не могу. Они... Они не позволят мне остаться в Лондоне.

— О чем вы говорите?

Она рассказала, что, если Лэгюн ее уволит, ей придется уехать в деревню к тетке, сестре Чеффери, которой нужна компаньонка. На этом настаивает Чеффери.

— Ей нужна компаньонка, говорят они. Не компаньонка, а прислуга, у нее нет прислуги. Мама только плачет, когда я пытаюсь с ней поговорить. Она не хочет, чтобы я от нее уезжала. Но она его боится. «Почему ты не

делаешь того, что он хочет?» — спрашивает она.

Этель смотрела прямо перед собой в сгущающуюся тьму.

— Мне очень бы не хотелось рассказывать вам об этом, — снова заговорила она бесцветным голосом. — Это все вы... Если бы вы не рассердились... Из-за вас все стало по-другому. Если бы не вы, я могла бы выполнить его желание. Я... Я помогала... Я пошла помочь, если у мистера Лэгьюна что-нибудь получится не так. Да... В тот вечер. Нет... не нужно! Слишком тяжело мне рассказывать вам. Но раньше, до того как увидела вас там, я этого не чувствовала. Тогда я вдруг сразу показалась себе жалкой и лживой.

— И что же? — спросил Люишем.

— Вот и все. Пусть я действительно занималась угадыванием мыслей, но с тех пор я больше не обманывала... ни разу... Если бы вы знали, как трудно...

— Вам следовало рассказать мне все это раньше.

— Я не могла. До вашего появления все было по-другому. Он потешался над людьми, передразнивал Лэгьюна, и мне было смешно. Это казалось просто шуткой. — Она вдруг остановилась. — Зачем вы тогда пошли за мной? Я сказала вам, чтобы вы не ходили. Помните, я говорила?

Она готова была вот-вот зарыдать. С минуту она молчала.

— Я не могу поехать к его сестре! — выкрикнула она. — Пусть это трусость, но я не могу.

Молчание. И вдруг Люишем отчетливо и ясно представил себе, что ему надлежит делать. Его тайное желание внезапно превратилось в неотложный долг.

— Послушайте, — сказал он, не глядя на нее и дергая себя за усы, — я не желаю, чтобы вы продолжали заниматься этим проклятым мошенничеством. Вы больше не будете пятнать себя. И я не желаю, чтобы вы уезжали из Лондона.

— Но что же мне делать? — Она почти кричала.

— Есть одно, что можно сделать. Если вы решитесь.

— Что именно?

Несколько секунд он молчал. Затем повернулся и взглянул на нее. Глаза их встретились...

Мрак его души стал рассеиваться. Ее лицо было белым, как мел, она смотрела на него в страхе и замешательстве. В нем возникло новое, неведомое до тех пор чувство нежности к ней. Раньше его привлекала ее миловидность и живость — теперь же она была бледна, а глаза ее смотрели устало. Ему казалось, будто он забыл ее, а потом неожиданно вспомнил.

Одна мысль овладела всем его существом.

— Что же еще я могу сделать?

Удивительно трудно было ответить. В горле появился какой-то комок, мышцы лица напряглись, ему хотелось одновременно и плакать и смеяться. Весь мир исчез перед его страстной мечтой. Он боялся, что Этель не решится, что она не примет всерьез его слов.

— Что же это такое? — переспросила она.

— Разве вы не понимаете, что мы можем пожениться? — сказал он под внезапным наплывом решимости. — Разве вы не понимаете, что это единственный для нас выход? Из тупика, в котором мы находимся! Вы должны отказаться от своего участия в обмане, а я — от своей зубрежки. И мы... мы должны пожениться.

Он помолчал, а потом вдруг стал небывало красноречив.

— Мир против нас, против... нас. Вам он предлагает деньги за обман, за бесчестные поступки. Ибо это — бесчестье! Он предлагает вам не честный труд, а грязную работу. И отнимает вас у меня. Меня же прельщают обещаниями успеха при условии, что я покину вас... Вам не все известно. Нам придется ждать, быть может, годы, целую вечность, если мы будем ждать обеспеченной жизни. Нас могут разлучить... Мы можем совсем потерять друг друга... Давайте бороться против этого. Почему мы должны разлучаться? Если только истинная любовь не пустые слова, как все остальное. Это единственный выход. Будем вместе, ибо мы принадлежим Друг другу.

Она смотрела на него, смущенная этой новой для нее мыслью, а сердце ее рвалось из груди.

— Мы так молоды, — сказала она. — И на что мы будем жить? Ведь вы получаете всего одну гинею.

— Я буду получать больше, я сумею заработать деньги. Я все обдумал. Уже два дня, как я не перестаю об этом думать. О том, что мы могли бы предпринять. У меня есть деньги.

— Есть деньги?

— Почти сто фунтов.

— Но мы так молоды... И моя мать...

— Мы не станем ее спрашивать. Мы никого не будем спрашивать. Это наше личное дело, Этель! Это наше личное дело. Тут вопрос, не в средствах... Еще раньше... Я думал... Дорогая, разве вы не любите меня?

Но она не поддалась его восторгу. Она смотрела на него смятенным взглядом, еще занятая практической стороной дела, еще сводя все к арифметическим подсчетам.



— Если бы у меня была машинка, я могла бы печатать. Я слышала...

— Вопрос не в средствах, Этель... Я мечтал...

Он замолчал. Она смотрела ему в лицо, в глаза, полные нетерпения, красноречиво говорящие обо всем том, что осталось невысказанным.

— Решитесь ли вы пойти со мной? — прошептал он.

Внезапно мир открылся перед ней наяву, как не раз открывался в заветных мечтах. И она дрогнула. Она отвела взгляд, опустила глаза. Она была готова вступить в заговор.

— Но как?..

— Я придумаю, как. Доверьтесь мне. Ведь мы теперь хорошо знаем друг друга. Подумайте! Мы вдвоем...

— Но я никогда не ожидала...

— Я сниму для нас квартиру. Это так легко. И только подумайте, только подумайте, какая это будет жизнь!

— Но как можно?..

— Вы пойдете?

Она в смятении смотрела на него.

— Вы же знаете, — сказала она, — вы не можете не знать, что мне хотелось бы... мне бы очень хотелось...

— Вы пойдете.

— Но, милый... Милый, если вы настаиваете...

— Да! — торжествующе вскричал Люишем. — Вы пойдете. — Он оглянулся и понизил голос. — О любимая! Моя любимая!

Голос его перешел в неразборчивый шепот. Но лицо красноречиво свидетельствовало о его чувствах. Мимо, как раз вовремя, чтобы напомнить ему, что он находится в общественном месте, направляясь домой и болтая между собой, прошли два клерка.

## 20. Движение вперед приостановлено

В следующую среду днем — уже перед самым экзаменом по ботанике — Смизерс увидел Люишема в зале Педагогической библиотеки за чтением одного из томов Британской энциклопедии. Рядом лежали Уитекеровский ежегодник, открытая записная книжка, брошюра из серии «Современная наука» и справочник факультета Наук и Искусств. Смизерс, который с почтением относился к таланту Люишема отыскивать во время подготовки к экзамену интересные данные, несколько минут размышлял над тем, какие же это ценные сведения по ботанике можно почерпнуть из Уитекера, и, придя домой, потратил час-другой на просмотр экземпляра, имевшегося у его квартирной хозяйки. В действительности же Люишем занимался вовсе не ботаникой; по самым авторитетным источникам он изучал искусство брака. (Брошюра из серии «Современная наука» была «Эволюцией брака» профессора Летурно, произведение, несомненно, интересное, но мало пригодное в данный момент.)

Из Уитекера Люишем узнал, что за 2 фунта 6 шиллингов и 1 пенс или за 2 фунта 7 шиллингов и 1 пенс, во всяком случае, не дороже, можно до конца недели проделать все формальности бракосочетания — в названную сумму не входили чаевые — в окружной регистрационной конторе. Он сделал в своей книжке кое-какие выкладки. Плата за венчание в церкви, как он обнаружил, колебалась в очень широких пределах, но церковного брака он не желал по личным мотивам. С другой стороны, заключение гражданского брака без лицензии связано с ненужной проволочкой. Итак, придется пойти на 2 фунта 7 шиллингов 1 пенс. Чаевые — ну, скажем, еще десять шиллингов.

Затем с совершенно излишним бахвальством он вытащил свои сберегательную и чековую книжки и приступил к дальнейшим подсчетам. Он убедился, что является владельцем 61 фунта 4 шиллингов 7 пенсов. Не ста фунтов, как он сказал, но довольно приятной кругленькой суммы — другим приходилось начинать дела и с меньшим капиталом. Когда-то это были действительно сто фунтов. Если он истратит пять фунтов на регистрацию брака и переезд, то у него останется около 56 фунтов. А это совсем не мало. Никаких расходов на цветы, карету и медовый месяц. Но придется купить пишущую машинку. Этель тоже будет вносить свою лепту...

— Да, это будет дьявольски трудно! — воскликнул Люишем, радуясь

неизвестно чему. Ибо, как ни странно, вся эта затея стала приобретать для него вкус захватывающего приключения, отнюдь не лишенного приятности. Зажав в руке записную книжку, он откинулся на спинку стула...

В этот день ему предстояло еще немало дел. Прежде всего нужно поговорить с окружным чиновником-регистратором, а затем подыскать квартиру, куда он сможет привести Этель, квартиру для них обоих, где они будут жить вместе.

При мысли об этой новой жизни вместе, которая была уже так близка, ему представилась Этель, такая живая, такая близкая, такая ласковая...

Очнувшись от своих грез, он увидел, что один из служащих библиотеки, перегнувшись через свой стол и грызя кончик разрезального ножа — привычка всех служащих Южно-Кенсингтонской библиотеки, — с любопытством уставился на него. Угадывание мыслей, подумал Люишем, по-видимому, весьма распространенное явление. Он вспыхнул, неуклюже вскочил и поставил том Британской энциклопедии обратно на полку.

Ему пришлось убедиться, что подыскать квартиру вовсе не так легко. После первой же попытки он вообразил, что у него подозрительный вид, и это порядком мешало ему. Он выбрал район к югу от Бромтон-роуд. У этого района был один недостаток: там жило много сокурсников Люишема, и они могли оказаться соседями... Разумеется, большой роли это не играло. Дело просто в том, что семейные пары в Лондоне не имеют обыкновения постоянно проживать в меблированных комнатах. Те, кто слишком беден для того, чтобы арендовать целый дом или хотя бы этаж, обычно предпочитают брать внаем часть дома или необставленную квартиру. На сотню семейных пар, живущих в Лондоне в необставленных квартирах («с пользованием кухней»), приходится всего одна пара, обитающая в меблированных комнатах. Для осторожной квартирохозяйки отсутствие у жильцов собственной мебели является первым признаком их неплатежеспособности. Первая хозяйка, к которой обратился Люишем, заявила, что не любит держать у себя дам, потому что с ними, по ее выражению, хлопот не оберешься, вторая была такого же мнения, третья сказала мистеру Люишему, что он «слишком молоденький, чтобы жениться», четвертая объявила, что сдает комнаты только одиноким джентльменам. Пятая оказалась молодой особой с плутовскими ужимками, которой хотелось разузнать о своих жильцах все подробности, поэтому она подвергла Люишема перекрестному допросу. Но, уличив его в явной, по ее мнению, лжи, она выразила опасение, что ее комнаты ему «едва ли подойдут», и, любезно кланяясь, выпроводила его.

Погуляв по улице, пока не остыли уши и щеки, он затем предпринял новую попытку. На этот раз хозяйка оказалась страшным и жалким существом — такой серой и запыленной она выглядела, а на лице у нее лежали морщины и тени нужды и бед. Голова ее была украшена съехавшим набок грязным чепцом. Она провела Люишема в убогую комнату на втором этаже. «Можете пользоваться пианино», — сказала она, указывая на инструмент под рваным чехлом зеленого шелка. Люишем открыл крышку, порванные струны при этом задребезжали. Он еще раз обвел взглядом мрачное помещение. «Восемнадцать шиллингов, — сказал он. — Благодарю вас... Я дам вам знать». Женщина скорбно улыбнулась и, не говоря ни слова, усталой походкой направилась к двери. Люишем подумал, что, наверное, у нее в семье какое-то несчастье, но любопытствовать не стал.

Следующая хозяйка оказалась вполне подходящей. Это была опрятного вида немка, довольно прилично одетая, с челкой из льняных кудряшек. Она была говорлива — из уст ее изливались бесконечные потоки слов, по большей части, безусловно, английских. На таком языке она и высказала все свои условия. Она просила пятнадцать шиллингов за крошечную спальню и маленькую гостиную, расположенные в первом этаже и разделенные между собой двухстворчатой дверью, «плюс обслуживание». Уголь стоит «шесть пенсов терка» — имелось в виду «ведерко». Выяснилось, что она не поняла Люишема, когда он сказал ей, что женат. Но, узнав, не колебалась ни минуты. «Токта фосемнатцать шиллинков, — невозмутимо заявила она. — И платить перфый тень каждой недели... Да?» Мистер Люишем еще раз оглядел комнаты. Они казались чистыми, а китайские вазочки, полученные в виде премии из чайного магазина, потемневшие от времени олеографии в позолоченных рамках, два мешочка, предназначенные для туалетной комнаты, а теперь фигурировавшие в качестве украшений, и комод, передвинутый из спальни в гостиную, просто взывали к его чувству юмора.

— Я беру комнаты со следующей субботы, — объявил он.

Хозяйка не сомневалась, что комнаты понравятся, и незамедлительно предложила выдать ему квартирную книжку. Мимоходом она упомянула, что предыдущий жилец, капитан, прожил у нее три года. (О жильцах, которые прожили бы меньше трех лет, никогда не услышишь.) Затем что-то произошло (тут она заговорила по-немецки), и теперь этот капитан имеет свой выезд, по-видимому, в результате постоя у нее на квартире. Она вернулась, держа в руках грошовую конторскую книгу, бутылочку чернил и отвратительное перо, написала на обложке книги фамилию Люишема, а на

первой странице расписку в получении восемнадцати шиллингов. Она, по-видимому, была от природы наделена незаурядными деловыми способностями. Люишем отдал ей деньги, и на этом официальная часть была завершена.

— Уферена, што вам будет утобно, — этим утешительным напутствием она проводила его до дверей.

Затем он отправился в Челси, где в окружной регистрационной конторе подробно выпросил обо всем у одного старого джентльмена, круглолицего и в очках. Тот выслушал Люишема внимательно, но с чисто деловым видом.

У него была привычка повторять ответы просителя.

— Чем могу служить? Ага, вы хотите жениться. По церковной лицензии?

— По лицензии.

— По лицензии?

И так далее. Он открыл книгу и принялся аккуратно заносить в нее все данные.

— Сколько лет невесте?

— Двадцать один.

— Весьма подходящий возраст... для невесты.

Он посоветовал Люишему купить обручальное кольцо и сказал, что понадобятся два свидетеля.

— Видите ли... — нерешительно начал Люишем.

— Здесь всегда кто-нибудь найдется, — успокоил его чиновник-регистратор. — Для них это дело привычное.

Четверг и пятницу Люишем провел в чрезвычайно приподнятом состоянии духа. Никакие укоры совести по поводу крушения карьеры в эти дни его, по-видимому, не терзали. Все сомнения на время рассеялись. Ему хотелось пуститься в пляс по коридору. Он был настроен крайне легкомысленно и принялся даже подшучивать над окружающими, что, естественно, никому удовольствия не доставляло. Вдруг, неизвестно с чем, поздравил мисс Хейдингер, а в буфете бросил через весь зал булочкой в Смизерса, попав при этом в одного из служащих Художественной школы. Обе эти шутки были чрезвычайно неумными. В первом случае, нанеся обиду, он тотчас же раскаялся, но во втором усугубил оскорбление тем, что, пройдя через всю комнату, обидно-подозрительным тоном стал спрашивать, не видел ли кто его булочки. Он полез под стол и наконец отыскав ее, порядком запыленную, но вполне съедобную, под стулом одной из студенток Художественной школы. Усевшись рядом со Смизерсом, он

съел эту булочку, не переставая препираться со служащим Художественной школы, который заявил, что поведение студентов Школы естественных наук становится невыносимым, и пригрозил, что поставит об этом вопрос перед комиссией, ведающей питанием студентов. Люишем ответил, что глупо поднимать шум из-за мелочей, и предложил служащему Художественной школы запустить в него, Люишема, весь свой завтрак — бифштекс и пирог с фасолью — и тем с ним расквитаться. Затем он извинился перед служащим, заметив в качестве оправдания, что попасть в него издали было вовсе не легко. Служащий глотнул пива или чего-то горячительного, и на этом ссора была закончена. Под вечер, однако, Люишем, к чести его будет сказано, испытывал острое чувство стыда за свои поступки. Мисс Хейдингер перестала с ним разговаривать.

В субботу утром он не пошел на занятия, послав по почте уведомление о том, что слегка нездоров, и, собрав все свои пожитки, отнес их в камеру хранения на Воксхолл-стейшн. Сестра Чеффери жила в Тонхеме, возле Фарнема, и Этель, неделю назад уволенная Лэгьюном, в то утро под плаксивым надзором своей матери отправилась в новое рабство. Согласно уговору, она должна была сойти или в Фарнеме, или в Уокинге, смотря по обстоятельствам, и, возвратившись в Воксхолл, встретиться с ним. А это означало, что Люишем понятия не имел, сколько ему придется простоять на платформе.

Сначала он испытывал только подъем чувств от небывалого приключения. Затем, несколько раз исходив длинную платформу взад и вперед, стал настраиваться философически, ощущая странную отрешенность от всего мира. Какой-то пассажир положил рядом со своим чемоданом садовые деревца с обвязанными корнями, и при виде их на ум Люишему пришло забавное сравнение. Его собственные корни, все, что ему в жизни принадлежало, — все это находилось сейчас здесь, внизу, на этом вокзале. До чего неосновательное он существо! Ящик с книгами, сундук с платьем, несколько аттестатов, какие-то клочки бумаги, записи да не очень крепкое тело — а вокруг такая толпа, и все против него, весь огромный мир, в котором он очутился! Если бы он вдруг перестал существовать, взволновало бы это кого-нибудь, кроме нее, Этель? Наверное, и она вдали от него тоже чувствует себя маленькой и одинокой...

Как бы не вышло у нее неприятностей с багажом! А вдруг тетка явится на станцию в Фарнем встретить ее? А вдруг у нее украдут кошелек? А вдруг она опоздает? Регистрация должна состояться в два... А вдруг она совсем не приедет? После того как три поезда подряд пришли без нее, смутный страх уступил место глубокому унынию...

Наконец она явилась. Было уже без двадцати трех минут два. Он быстро отнес ее багаж вниз, сдал его вместе со своим собственным, и через минуту они уже сидели на извозчике, впервые в жизни воспользовавшись этим средством передвижения, на пути к мэрии. Они не успели переброситься даже словом, если не считать торопливых указаний Люишема, но глаза их блестели от волнения, а руки под фартуком коляски были соединены.

Маленький старый джентльмен вел себя деловито, но ласково. Они произнесли свои обеты перед ним, чернобородым клерком и какой-то женщиной, которая перед тем, как принять участие в церемонии, сняла внизу свой фартук. Маленький старый джентльмен не говорил длинных речей.

— Вы люди молодые, — медленно сказал он, — а совместная жизнь нелегка... Будьте добры друг к другу.

Он чуть печально улыбнулся и по-дружески протянул им руку.

На глазах у Этель блестели слезы. Она чувствовала, что не может произнести ни слова.

## 21. Дома!

Затем Люишем украдкой расплатился со свидетелями и наконец очутился возле нее. Лицо его сияло. По улице шла густая толпа рабочих, возвращавшихся домой на отдых после недели труда. На ступеньках перед нашими новобрачными лежало несколько зернышек риса, оставшихся от более торжественного бракосочетания.

Наблюдательная девчушка, с любопытством оглядев вышедшую из дверей пару, сказала что-то своему оборванному приятелю.

— Нет! — ответил оборвыш. — Они приходили лишь порасспросить кое о чем.

Оборвыш был не из хороших физиономистов.

По запруженным толпой улицам, почти не переговариваясь друг с другом, они дошли до Воксхолл-стейшн, и там Люишем, приняв как можно более равнодушный вид и предъявив две квитанции, взял из камеры хранения их пожитки и сложил на извозчика. Его багаж привязали сзади, а маленький коричневый чемодан, в котором находилось все приданое Этель, уместился на сиденье перед ними. Представьте себе выдавшую виды извозчицью пролетку с тем самым желтым ящиком и обтрепанным сундуком на запятках, везущую мистера Люишема и все его достояние, представьте понурую лошадь, идущую неровным шагом, и богохульствующего себе под нос старика кучера, отчаянного самобичевателя, закутанного в ветхий плащ с капюшоном. Когда наши молодые очутились в кэбе, поведение их стало менее чопорным, пожатие рук — горячее. «Этель Люишем», — несколько раз произнес вслух Люишем, а Этель, отзываясь в ответ: «Муженек» или «Муженек, милый», — сняла с руки перчатку, чтобы еще раз полюбоваться кольцом. Она поцеловала кольцо.

Они решили никому не признаваться, что только-только поженились, и торжественно условились, что, когда приедут на квартиру, он будет обращаться с ней грубовато-бесцеремонно. Хозяйка-немка с любезной улыбкой встретила их в коридоре, выразила надежду, что они благополучно доехали, и рассыпалась в обещаниях удобств. Люишем помог грязнухеслужанке внести багаж, с решительным видом дал извозчику флорин и последовал за дамами в гостиную.

Этель с восхитительным самообладанием ответила на расспросы мадам Гэдоу, вслед за ней прошла за двухстворчатую дверь и проявила



разумный интерес к новому пружинному матрацу. Затем двухстворчатая дверь затворилась. Люишем ходил по гостиной, дергал себя за усы, делал вид, что восхищается олеографиями, и, к удивлению своему, заметил, что дрожит.

Грязнуха-служанка появилась опять, неся консервированную лососину и отбивные, которые он заранее попросил мадам Гэдоу для них приготовить. Он повернулся к окну и стал смотреть на улицу, потом услышал, как затворилась дверь за служанкой, и оглянулся лишь при звуке шагов Этель, которая вышла из-за двухстворчатой двери.

У нее был удивительно домашний вид. До сих пор ему лишь однажды, в драматический момент, да еще когда в комнате было полутемно, довелось видеть ее без шляпы и жакета. Теперь на ней была блузка из мягкой темно-красной ткани, отделанная белым кружевом у манжет и у ворота, открывающего ее красивую шею. А волосы ее оказались целым волшебным миром локонов и шелковистых прядей. Какой хрупкой и нежной предстала она перед ним в своей нерешительности. О, эти дивные минуты жизни! Он сделал шаг вперед и протянул руки. Она оглянулась на затворенную дверь и кинулась ему навстречу.

## 22. Свадебная песнь

В течение трех незабываемых дней существование Люишема представляло собой цепь самых чудесных ощущений, а жизнь казалась такой удивительной и прекрасной, что в ней не было места сомнениям или думам о будущем. Находиться рядом с Этель было нескончаемым удовольствием: она поражала этого выросшего без сестер юношу тысячью изысканных мелочей, свойственных лишь женщине. Возле нее ему было стыдно за свою силу и неуклюжесть. А свет, загоравшийся в ее глазах, и тепло ее сердца, зажигавшее этот свет!

Даже находиться вдали от нее тоже было чудесно и по-своему восхитительно. Теперь он перестал быть обычным студентом, он превратился в мужчину, в жизни которого есть тайна. В понедельник расстаться с нею возле Южно-Кенсингтонской станции и подняться по Эгсибишн-роуд вместе со всеми студентами, которые поодиночке ютились в убогих жилищах и были мальчиками в сравнении с ним, умудренным своим трехдневным опытом! А потом, позабыв о работе, сидеть и мечтать о том, как они увидятся вновь! И когда звон полдневного колокола пробудит к жизни большую лестницу — или даже чуть раньше, — ускользнуть на тенистый церковный двор позади часовни, увидеть улыбающееся лицо и услышать нежный голос, говорящий милые глупости! А после четырех новое свидание, и они идут домой — к себе домой.

Не было больше расставаний на углу, где горел газовый фонарь, и маленькая фигурка теперь не уходила от него, исчезая в туманной дали и унося с собой его любовь. Никогда больше этого не будет. Долгие часы, проводимые Люишем в лаборатории, теперь в основном посвящены были мечтательным размышлениям и — честно говоря — придумыванию нелепых ласкательных словечек: «Милая жена», «Милая женушка», «Родненькая, миленькая моя женушка», «Лапушка моя». Прелестное занятие! И это отнюдь не преувеличение, а весьма красочный пример его глубокой оригинальности в те удивительные дни. Задумавшись обо всем этом, Люишем обнаружил в себе неведомое ему до сих пор сходство со Свифтом. Ибо, подобно Свифту и многим другим, ему пришлось обратиться к языку лилипутов. Да, поистине, то было преглупое время.

Сделанному им на третий день своей семейной жизни срезу для микроскопического анализа — а работал он в те дни предельно мало — нельзя было не изумиться. Биндон, профессор ботаники, будучи еще под

свежим впечатлением, торжественно объявил в столовой одному из своих коллег, что еще никогда не было допущено более нелепой ошибки в переоценке способностей студента.

И Этель тоже переживала время, полное самых сладостных волнений. Она стала хозяйкой дома, их дома. Она делала покупки, и продавцы почтительно величали ее «мэм»; она придумывала обеды и переписывала счета, чувствуя себя при этом нужной и полезной. Время от времени она откладывала перо и сидела, мечтая. Вот уже четыре раза она провожала и встречала Люишема, с жадностью ловя новые слова, рожденные его воображением.

Хозяйка комнат оказалась особой любезной и презанимательно повествовала о том, какие странные и беспутные служанки выпадали на ее долю. А Этель с помощью хитрых недомолвок старалась скрыть, что она лишь недавно замужем. В ту же субботу она написала письмо матери — Люишему пришлось ей помочь, — объявив причины своего героического бегства и обещая в самом скором времени приехать с визитом. Они отправили письмо с таким расчетом, чтобы его получили не раньше понедельника.

Этель разделяла мнение Люишема, что только необходимость избавить ее от участия в медиумическом шарлатанстве заставила их пожениться — взаимное влечение тут было совершенно ни при чем. Как видите, у них все было довольно возвышенно.

Люишем уговорил ее отложить визит к матери до вечера в понедельник. «Пусть хоть один день медового месяца, — настаивал он, — целиком принадлежит нам». В своих добрых размышлениях он совершенно упустил из виду, что после женитьбы им придется поддерживать отношения с мистером и миссис Чеффери. Даже теперь ему не хотелось смириться с этой явной неизбежностью. Он предвидел, хотя твердо решил об этом не думать, тягостные сцены объяснений. Но все же возвышенные чувства помогли ему отвлечься от неприятностей.

— Пусть по крайней мере это время принадлежит нам, — сказал он, и слова его, казалось, решили дело.

Если не считать краткости их медового месяца и предчувствия грядущих неприятностей, это было в самом деле чудесное время. Например, их совместный обед — правда, когда они наконец в ту памятную субботу приступили к нему, он оказался немного холодным, — но какое это было веселье! Нельзя сказать, чтобы они страдали отсутствием аппетита: оба ели чрезвычайно хорошо, несмотря на единение душ, передвижение стульев, пожатие рук и прочие помехи. Люишем впервые как следует

рассмотрел ее руки, пухлые белые ручки с короткими пальчиками, и тут из своего укромного убежища появилось то самое колечко, которое он когда-то подарил ей в знак помолвки, и было надето поверх обручального. Взоры их скользили по комнате и вновь встречались в улыбке. Движения их были трепетны.

Этель призналась, что ей страшно нравятся и комнаты и их убранство, она восхищалась своим положением, а он был в восторге от ее восторга. В особенности ее забавляли комод в гостиной и остроты Люишема над туалетными мешочками и олеографиями.

Уничтожив отбивные, большую часть консервированной лососины и свежее испеченную булку, они с новым аппетитом приступили к пудингу из тапиоки. Разговор велся отрывками.

— Ты слышал, она назвала меня «мадам»? «Мадам» — вот как.

— А сейчас мне придется выйти, сделать кое-какие покупки. Нужно купить все необходимое на воскресенье и на утро в понедельник. Я должна составить список. Нехорошо, если она заметит, как мало я смыслю в хозяйстве... Ах, если бы знать побольше!

В то время Люишем отнесся к ее признанию в хозяйственном невежестве только как к поводу для веселых шуток. А потом, заговорив на другую тему, он принялся выражать ей сочувствие по поводу того, как неторжественно была обставлена их свадьба.

— И подружек невесты не было, — говорил он, — и детишки не рассыпали цветы, ни карет, ни полицейских, чтобы охранять свадебные подарки, — словом, ничего того, что полагается. Не было даже белого платья. Только ты да я.

— Только ты да я. О!

— Все это чепуха, — помолчав, сказал Люишем.

— А скольких речей мы не слышали! — снова заговорил он. — Только представь себе: встает шафер и говорит: «Леди и джентльмены, за здоровье новобрачной!» Так, кажется, полагается говорить шаферу?

Вместо ответа она протянула ему руку.

— А знаешь ли ты, — продолжал он, уделив ее руке должное внимание, — что мы даже не были представлены друг другу?

— Не были! — подтвердила Этель. — Не были! Мы даже не были представлены!

По какой-то неведомой причине то обстоятельство, что они не были представлены друг другу, привело их в необыкновенный восторг...

К вечеру, после того, как Люишем распаковал кое-что из книг и прочих пожитков, его можно было видеть на улице, где он, не таясь и пребывая в

превосходном настроении, нес вслед за Этель ее покупки. В руках у него были свертки и фунтики из синей бумаги, свертки из серой оберточной бумаги и пакет с кондитерскими изделиями, а из бокового кармана его ист-эндского пальто торчал хвост завернутой в бумагу пикши. С такими высокими чувствами и такими убогими средствами начали они свой медовый месяц.

В воскресенье вечером они долго гуляли по тихим улицам, пока не очутились наконец в Гайд-парке. Вечер ранней весны был мягким и ясным, в небе ласково светила луна. Они смотрели с моста на Серпентайн, на огоньки Паддингтона, желтые и далекие. Так они стояли, еле заметные маленькие фигурки, прижавшись друг к другу. Сначала они что-то шептали, потом совсем смолкли.

Потом им показалось, что мимо кто-то прошел, и Люишем поспешил заговорить в своей возвышенной манере. Он сравнил Серпентайн с жизнью и нашел символическое значение в темных берегах Кенсингтон-гарденс и далеких ярких огнях.

— Долгая борьба, — сказал он, — и в конце огни, — хотя, что он подразумевал под этими огнями в конце, он и сам не знал. Не знала этого и Этель, но восторженное чувство его вполне разделяла. — Мы боремся с миром, — добавил он, ощущая огромное удовольствие от этой мысли. — Весь мир против нас, и мы боремся с ним.

— И победить нас нельзя, — сказала Этель.

— Разве можно нас победить, когда мы вместе? — спросил Люишем. — Ради тебя я готов драться с десятком миров.

Под ласковым сиянием луны бороться с миром казалось приятно, благородно и даже легко, ибо отваги у них было хоть отбавляй.

— Ви, наверное, не ошень тавно замушем, — вкрадчиво улыбаясь, заметила мадам Гэдоу, когда отворила дверь Этель, проводившей Люишема до школы.

— Не ошень, — призналась Этель.

— Ви ошень щастливи, — сказала мадам Гэдоу и вздохнула. — Я тоже была ошень щастлива.

## 23. Мистер Чеффери у себя дома

В понедельник, когда мистер и миссис Д.Э.Люишем отправились с визитом к миссис и мистеру Чеффери, позолоченная завеса сплошного восторга немного приподнялась. Миссис Люишем явно одолевали мрачные предчувствия, но сам Люишем еще продолжал парить в облаках и держался бесстрашным героем. На кем была бумажная сорочка с полотняным воротничком и очень красивый черный атласный галстук, который миссис Люишем в тот же день купила по собственной инициативе. Ей, естественно, хотелось, чтобы он выглядел как можно лучше.

Миссис Чеффери явилась ему в полуосвещенном коридоре в виде грязного чепца над плечом Этель и двух черных рукавов вокруг ее шеи. Она оказалась затем маленькой пожилой женщиной с тонким носом, торчащим из-под очков в серебряной оправе, бесхарактерным ртом и растерянными глазами — нелепое, неряшливое существо, странно похожее лицом на Этель. Она явно дрожала от нервного возбуждения.

Она помедлила в нерешительности, взглядываясь в Люишема, затем с энтузиазмом его расцеловала.

— Значит, это и есть мистер Люишем! — воскликнула она.

За всю жизнь Люишема, начиная с давно забытых дней младенчества, это была третья целовавшая его женщина.

— Я так боялась... Вот! — Она истерически рассмеялась. — Извините меня за мои слова, но так приятно убедиться, что вы... молоды и как будто порядочны. Не то, чтобы Этель... Он был просто ужасен; — добавила миссис Чеффери. — Тебе не следовало писать о гипнотизировании. И от Джейн такие письма... Вот! Впрочем, он ждет и слушает...

— Куда нам идти, мама? Вниз? — спросила Этель.

— Он ждет вас там, — ответила миссис Чеффери.

Она взяла тусклую керосиновую лампочку, и по мрачной винтовой лестнице они все вместе спустились в подвал, где находилась столовая, освещенная газом, который горел под матовым стеклянным абажуром со звездами. Этот спуск произвел на Люишема гнетущее впечатление. Он шел первым. У двери он остановился и глубоко вздохнул. Что, черт побери, собирается говорить этот Чеффери? Хотя ему-то, разумеется, все равно.

Чеффери стоял спиной к горящему камину, подрезая ногти перочинным ножиком. Его очки с позолоченными ободками были сдвинуты вниз, образуя пятно света на кончике его длинного носа; он

оглядел мистера и миссис Люишем поверх очков с... — мистер Люишем на мгновение не поверил своим глазам: нет, определенно он улыбался — явно шутливой улыбкой.

— Итак, ты вернулась, — довольно весело обратился он к Этель через голову Люишема. Говорил он каким-то фальцетом.

— Она пришла навестить свою мать, — сказал Люишем. — Вы, полагаю, и есть мистер Чеффери?

— Хотелось бы знать, кто вы такой, черт побери? — воскликнул Чеффери, откидывая назад голову, чтобы можно было смотреть сквозь очки, а не поверх них, и смеясь от души. — Я склонен думать, что в наглости вы не имеете себе равных. Уж не тот ли вы самый мистер Люишем, о котором сия заблудшая девица упоминает в своем письме?

— Он самый.

— Мэгги, — обратился мистер Чеффери к миссис Чеффери, — бывают люди, с которыми деликатничать бесполезно, которые деликатности просто не понимают. У вашей дочери есть брачное свидетельство?

— Мистер Чеффери! — воскликнул Люишем, а миссис Чеффери вскричала:

— Джеймс! Как ты можешь?

Чеффери защелкнул перочинный нож и сунул его в карман жилета. Затем он поднял взгляд и снова заговорил тем же ровным голосом:

— Мне представляется, что мы цивилизованные люди и готовы решить наши дела цивилизованным путем. Моя падчерица проводит вне дома две ночи и возвращается с так называемым мужем. Я по крайней мере не намерен оставаться в неведении относительно узаконенности ее положения.

— Вам бы следовало знать ее лучше... — начал было Люишем.

— К чему споры на этот счет, — весело спросил Чеффери, длинным пальцем указуя на невольный жест Этель, — когда свидетельство у нее в кармане? С таким же успехом, я полагаю, она может предъявить его. Вот видите. Не бойтесь вручить его мне. Всегда можно получить другое по номинальной стоимости в два шиллинга семь пенсов. Благодарю вас... Люишем Джордж Эдгар. Двадцать один год. И... Тебе тоже двадцать один! Я никогда точно не знал, сколько тебе лет, дорогая. Разве твоя мать скажет когда-нибудь? Студент! Благодарю вас. Весьма обязан. На душе у меня и вправду стало гораздо легче. А теперь — что вы желаете сказать в свое оправдание по поводу этого столь примечательного события?

— Вы получили письмо, — ответил Люишем.

— Я получил письмо с извинениями — выпады в мой адрес я

игнорирую... Да, сэр, письмо с извинениями. Вам, молодые люди, захотелось пожениться, и вы использовали благоприятный момент. В вашем письме вы даже не упоминаете о том обстоятельстве, что вам просто захотелось пожениться. Какая скромность!

— Вы явились сюда, уже став мужем и женой. Это нарушает установленный в нашем доме порядок, это причиняет нам бесконечные волнения, но вам до этого нет дела! Я не порицаю вас. Порицать следует природу. Ни один из вас пока не знает, на что вы себя обрекли. Узнаете потом. Вы муж и жена, и сейчас это самое важное... (Этель, милочка, вынеси шляпу и палку твоего мужа за дверь.) А вы, сэр, значит, изволите не одобрять того способа, которым я зарабатываю себе на жизнь?

— Видите ли... — начал Люишем. — Да. Вынужден заявить, что это именно так.

— А вас, собственно, никто к подобному заявлению не вынуждает. Только отсутствие опыта служит вам извинением.

— Да, но это неправильно, это нечестно.

— Догма, — сказал Чеффери. — Догма!

— То есть как это догма? — спросил Люишем.

— Просто догма, и все. Но об этом стоит поспорить при более удобных обстоятельствах. В эту пору мы обычно ужинаем, а я не из тех, кто борется против свершившихся фактов. Мы породнились. От этого никуда не уйдешь. Оставайтесь ужинать, и мы с вами выясним все спорные вопросы. Мы связаны друг с другом, давайте же извлечем из нашего родства максимальную пользу. Наши жены — ваша и моя — накроют на стол, а мы тем временем продолжим беседу. Почему бы вам не сесть на стул вместо того, чтобы стоять, облокотившись о его спинку? Это семейный дом — *domus*, — а не дискуссионный клуб, — причем довольно скромный, несмотря на мое возмутительное мошенничество... Так-то лучше. Прежде всего, я надеюсь, надеюсь от души, — Чеффери вдруг заговорил внушительно, — что вы не диссидент.

— Что? — переспросил Люишем. — Нет, я не диссидент.

— Так-то лучше, — сказал мистер Чеффери. — Очень этому рад. А то я уж немного боялся... Что-то в вашем поведении... Не выношу диссидентов. Питаю к ним особое отвращение. На мой взгляд, это огромный недостаток нашего Клэпхема. Видите ли... Я ни разу не встречал среди диссидентов людей порядочных, ни разу.

Он сделал гримасу, очки свалились у него с носа и повисли, звякнув о пуговицы жилета.

— Очень рад, — повторил он, снова водружая их на место. — Терпеть



не могу диссидентов, нонконформистов, пуритан, вегетарианцев, членов общества трезвенников и прочих. Мне по натуре чуждо лицемерие и формализм. По складу своему я истый эллин. Доводилось ли вам читать Мэтью Арнольда?<sup>[23]</sup>

— Кроме книг, нужных мне для занятий...

— А! Вам следует почитать Мэтью Арнольда. Удивительно ясный ум! У него вы можете отыскать то самое качество, которого порой недостает ученым. Они, пожалуй, слишком привержены к феноменализму, знаете ли, несколько склонны к объективизму. Я же ищу ноумен. Ноумен, мистер Люишем! Если вы следите за ходом моих мыслей...

Он умолк, а глаза его из-за очков мягко-вопросительно смотрели на Люишема. В комнату снова вошла Этель, уже без шляпы и жакета, и внесла звеневший у нее в руках квадратный черный поднос, белую скатерть, тарелки, ножи и стаканы и принялась накрывать на стол.

— Я слежу, — краснея, ответил Люишем. У него не хватило смелости признаться, что он не понимает значения этого необыкновенного слова. — Продолжайте, я слушаю.

— Я ищу ноумен, — с удовольствием повторил Чейфери и сделал рукой жест, означавший, что все остальное, кроме ноумена, он отметаает прочь. — Я не могу довольствоваться поверхностным и внешним наблюдением. Я принадлежу к нимфолептам, знаете ли, к нимфолептам... Я должен докопаться до истины вещей. До их неуловимой основы... Я взял за правило никогда не лгать самому себе, никогда. Немного найдется людей, кто может этим похвастаться. Я считаю, что правда начинается в собственном доме. И большей частью только там она и остается. Так безопаснее и проще, знаете ли! У большинства людей, однако, — у всех этих типичных диссидентов *par excellence*<sup>[24]</sup> — правда только и таскается по улицам, нанося визиты соседям. Вам понятна моя точка зрения?

Он взглянул на Люишема, которому казалось, что в голове у него сплошной туман. «Нужно быть внимательным, — подумал Люишем, — по возможности более внимательным».

— Видите ли, — осторожно начал он, — для меня несколько неожиданно, если можно так выразиться, при всем том, что было, услышать, как вы...

— Рассуждаю о правде? Вовсе нет, если вы поймете мою точку зрения. Мою принципиальную позицию. Вот о чем я говорю. Вот что я, естественно, стараюсь объяснить вам, поскольку мы породнились и вы стали как бы моим пасынком. Вы молоды, очень молоды, а потому суровы

и скоры в суждениях. Только годы учат правильно мыслить, смягчают глянец образования. Из вашего письма да и по вашему лицу мне ясно, что вы были в числе присутствовавших во время того небольшого происшествия в доме Лэгьюна.

Он поднял палец, словно только что сообразив нечто новое.

— Кстати, это объясняет и поведение Этель! — воскликнул он.

Этель со стуком поставила на стол горчицу.

— Разумеется, — отозвалась она, но не очень громко.

— Но вы знали ее и раньше? — спросил Чеффери.

— По Хортли, — ответил Люишем.

— Понятно, — сказал Чеффери.

— Я участвовал... Я был в числе тех, кто способствовал разоблачению обмана, — сказал Люишем. — А теперь, поскольку вы затронули этот вопрос, я считаю своим долгом сказать...

— Я знаю, — перебил его Чеффери. — Но каким ударом это было для Лэгьюна! — Мгновение, поджав губы, он рассматривал носки своих ботинок. — А фокус с рукой, знаете ли, был недурной затеей, — добавил он со странной усмешкой в сторону.

Несколько секунд Люишем мучительно размышлял над последними словами Чеффери.

— Мне все это представляется в несколько ином свете, — наконец изрек он.

— Не можете отказаться от своего пристрастия к морали, а? Ну ничего. Об этом мы еще потолкуем. Но, если оставить в стороне вопрос о нравственности, просто как артистически выполненный фокус, — это было сделано недурно.

— Я не очень разбираюсь в фокусах...

— Как все, кто принимается за разоблачения. Признайтесь, что вы никогда не слыхали и не думали об этом прежде, я говорю о пузыре. А между тем ясно, как дважды два, что медиум, у которого руки заняты, может действовать только зубами, а что может быть лучше пузыря, запрятанного под лацкан пиджака? Что, я вас спрашиваю? Но, хотя я неплохо знаком с медиумической литературой, там нигде об этом даже не упоминается. Ни разу. Меня всегда удивляло, как много упускают исследователи. Право, они никогда не учитывают, на чьей стороне преимущество, и это с самого начала ставит их в невыгодное положение. Вот смотрите! Я по натуре своей человек ловкий. Все свободное время я придумываю разные фокусы и, стоя или сидя, практикуюсь в выполнении их, потому что это очень меня забавляет. Неплохое развлечение, а? И что

же в результате? Возьмем хотя бы одно: мне известны сорок восемь способов производить стук, из которых десять по крайней мере являются оригинальными. Десять никому не известных способов производить стук. — Тон его был весьма выразителен. — Иные из них просто превосходны. Вот!

Как бы в подтверждение его слов раздался стук — где-то между Люишемом и Чеффери.

— Ну как? — спросил Чеффери.

Каминная доска открыла беглый огонь, а стол под самым носом у Люишема хлопал, как шутиха.

— Видите? — спросил Чеффери, закладывая руки под фалды сюртука.

Некоторое время Люишему казалось, что вся комната щелкает пальцами.

— Отлично, а теперь возьмем другое. Например, самый серьезный опыт, который я с честью выдержал. Два почтенных профессора физики — не Ньютоны, разумеется, но вполне достойные, почтенные, важные профессора физики, — затем дама, стремившаяся доказать, что загробная жизнь существует, и журналист, который нуждался в материале для статьи, то есть человек, который, как и я, зарабатывает на жизнь спиритизмом, решили подвергнуть меня испытанию. Испытывать меня!.. У них, разумеется, есть своя работа: преподавание физики, проповедование религии, организация опытов и так далее. Они и часа-то в день не уделяют моему ремеслу, большинство из них в жизни своей никого не обманывали и, хоть убей, неспособны трех миль проехать без билета, чтобы не быть пойманными. Ну, понятно вам теперь, на чьей стороне преимущество?

Он умолк. В Люишеме шла, казалось, какая-то внутренняя борьба.

— Знаете, — снова заговорил Чеффери, — поймали-то вы меня совершенно случайно. Просто надувная рука выскочила у меня изо рта. А иначе тому вашему приятелю с резким голосом никогда бы это не удалось. Решительно никогда.

С трудом, как человек, которому приходится поднимать тяжести, Люишем сказал:

— Видите ли, речь ведь не об этом. Я не сомневаюсь в ваших способностях. Дело в том, что это обман...

— Мы еще дойдем до этого, — пообещал Чеффери.

— Совершенно очевидно, что мы смотрим на вещи с разных точек зрения.

— Справедливо. И именно это нам придется обсудить. Именно это.

— Обман есть обман. От этого никуда не уйдешь. Это довольно

просто.

— Подождите, пока я выскажусь, — с жаром заговорил Чеффери. — Необходимо, чтобы вы поняли мои доводы. А у меня они есть. После получения вашего письма я все время об этом думаю. Поистине есть высший смысл! Можно оказать, что у меня есть свое предназначение. Я что-то вроде пророка. Вы еще не поняли?

— Тьфу, пропасть! — не выдержал Люишем.

— А! Вы молоды, вы незрелы. Мой дорогой юноша, вы только начинаете жить. И согласитесь, что у человека вдвое старше вас могут быть более широкие взгляды. Но вот и ужин. На некоторое время, во всяком случае, заключим перемирие.

Снова вошла Этель, неся еще один стул, а за ней появилась и миссис Чеффери с кувшином слабого пива. Скатерть, как заметил Люишем, когда он повернулся к столу, была порвана в нескольких местах и не заштопана, да к тому же покрыта пятнами, а в центре стола красовался давно нечищенный судок с горчицей, перцем, уксусом и тремя неопределенного назначения пустыми бутылочками. Хлеб лежал на широкой дощечке с благочестивым изречением по ободку, а на маленькой тарелочке высилась непропорционально огромная гора сыра. Мистера и миссис Люишем усадили по разные стороны стола, а миссис Чеффери села на сломанный стул, потому что, как она заявила, только ей был известен его нрав.

— Сыр этот столь же питателен, непригляден и неудобоварим, сколь и наука, — заметил Чеффери, разрезая и раздавая ломтики сыра. — Но раздавите его — вот так — своей вилкой, добавьте немного доброго дорсетского масла, помажьте горчицей, посыпьте перцем — перец необходим, — полейте солодовым уксусом и все это перемешайте. У вас получится сложная смесь под названием «сырный паштет», которую можно кушать не без приятности. Так же поступают мудрецы с жизненными фактами — не заглатывают целиком, но и не отвергают, а приспособливают к своим нуждам.

— Но ведь перец и горчица — не факты, — отозвался Люишем, и это была его единственная за весь вечер удачная реплика.

Чеффери признался, что его сравнение оказалось не совсем уместным, и так рассыпался в комплиментах, что Люишем не мог отказать себе в удовольствии бросить через стол взгляд на Этель. Но он тут же припомнил, что Чеффери — ловкий негодяй, от которого лучше заслужить порицание, нежели похвалу.

Некоторое время Чеффери был увлечен «сырным паштетом», и разговор шел вяло. Миссис Чеффери расспрашивала Этель об их квартире,

которую Этель расхваливала изо всех сил.

— Обязательно приходите как-нибудь к чаю, — пригласила она, не дожидаясь, что скажет Люишем, — и сами все посмотрите.

Чеффери удивил Люишема своей полной осведомленностью о материальном положении студента Южно-Кенсингтонского педагогического колледжа.

— У вас, вероятно, есть еще деньги, кроме той гинеи? — несколько напрямик спросил он.

— Достаточно для начала, — краснея, ответил Люишем.

— И вы рассчитываете, что они там в университете впоследствии позаботятся о вас — предоставят вам должность фунтов на сто в год?

— Да, — ответил Люишем несколько неохотно. — Фунтов на сто или около того. Пожалуй. Но, кроме Южного Кенсингтона, есть и другие места, если меня не захотят оставить здесь.

— Понятно, — сказал Чеффери. — Но на сотню фунтов особенно не разойдешься. Впрочем, немало достойных людей вынуждены существовать и на меньшие деньги.

Он помолчал, о чем-то размышляя, а потом попросил Люишема передать ему кувшин с пивом.

— А ваша матушка жива, мистер Люишем? — внезапно заинтересовалась миссис Чеффери и стала расспрашивать обо всех его родственниках подряд. Когда очередь дошла до водопроводчика, миссис Чеффери, вдруг приняв важный вид, заметила, что в каждой семье есть бедные родственники. Затем этот важный вид ушел в то самое прошлое, из которого он и возник.

Ужин кончился. Чеффери вылил остаток пива в свой стакан, вытащил длинную-предлинную глиняную трубку и пригласил Люишема закурить.

— Хорошо честно покурить, — сказал Чеффери, приминая табак в трубке, и добавил: — У нас, в Англии, честность и хорошие сигары вместе не встречаются.

Люишем нашарил у себя в кармане свои алжирские сигареты, и Чеффери, неодобрительно глянув на него сквозь очки, вернулся к самооправданию. Дамы удалились мыть посуду.

— Видите ли, — начал Чеффери сразу же после первой затяжки, — насчет обмана... Мне жизнь вовсе не кажется такой простой, как вам.

— И мне жизнь не кажется простой, — возразил Люишем, — но я считаю, что на свете существует и хорошее и дурное. И пока, мне представляется, вы еще ничем не доказали, что спиритический обман — это хорошо.

— Давайте обсудим этот вопрос, — сказал Чевфери, кладя йогу на ногу, — давайте его обсудим. Видите ли, — он сделал затяжку, — я думаю, вы несколько преуменьшаете значение иллюзии а жизни, истинную природу лжи и обмана в человеческом поведении. Вы склонны отрицать лишь одну форму обмана, потому что она не принята всеми и всюду и вызывает некоторое недоверие, а также — как свидетельствуют обтрепанные манжеты моих брюк и наш скромный ужин — малое вознаграждение.

— Дело не в этом, — ответил Люишем.

— Я же готов утверждать, — продолжал излагать свою теорию Чевфери, — что честность, по существу, является в обществе силой анархической и разрушающей, что общность людей держится, а прогресс цивилизации становится возможным только благодаря энергичной, а подчас даже агрессивной лжи, что Общественный Договор — это не что иное, как уговор людей между собой лгать друг другу и обманывать себя и других ради общего блага. Ложь — тот цемент, что скрепляет союз дикаря-одиночки с обществом. На этом общеизвестном тезисе я основываю свои оправдания. Мой спиритизм, смею вас уверить, — лишь частный пример общего правила. Не будь я по натуре человеком ленивейшим из ленивых, лишенным терпения и склонным к авантюризму, питающим к тому же страшное отвращение к писанию, я сочинил бы великую книгу об этом и приобрел на всю жизнь уважение самых умных на свете фальсификаторов.

— Но как вы намерены это доказать?

— Доказать! Достаточно просто указать. И теперь уже есть люди — Бернارد Шоу, Ибсен и им подобные, — которые кое-что постигли и проповедуют новое евангелие. Что есть человек? Вождение и алчность, сдерживаемые лишь страхом да неразумным тщеславием.

— С этим я не могу согласиться, — возразил мистер Люишем.

— Согласитесь, когда будете постарше, — ответил Чевфери. — Есть истины, которыми овладевают с годами. Что же касается лжи, давайте рассмотрим устройство цивилизованного общества, возьмем для сравнения дикаря. Вы обнаружите только одно существенное различие между дикарем и человеком цивилизованным: первый еще не научился хитрить, второй же делает это с успехом. Возьмите самое явное отличие — одежду цивилизованного человека, придуманную им во имя сохранения пристойности. Что есть одежда? Соккрытие существующих фактов. Что есть приличие? Подавление естественных желаний! Я не против пристойности и приличия, имейте в виду, но ведь нельзя отрицать, что они неотъемлемые части цивилизации, а по существу, они — «*suppressio veri*»<sup>[25]</sup>. В карманах

своей одежды наш гражданин носит деньги. У простодушного дикаря денег нет. Для него кусок металла — это кусок металла, годный, пожалуй, для украшения, не более того. И он прав. Так и для всякого здравомыслящего человека, все прочее — он понимает — от людской глупости. Но для простого цивилизованного человека всеобщая обменоспособность золота — это чудо и первооснова. Вдумайтесь-ка! Почему это так? Да ни почему! Я всю жизнь дивлюсь легковерию своих ближних. Порой по утрам, смею вас уверить, я лежу в постели, думаю, что, быть может, за ночь люди обнаружили обман, надеюсь, что вот-вот услышу внизу шум и увижу, как в комнату ворвется ваша теща, держа в руках шиллинг, который не пожелал взять молочник. «Что это? — скажет он. — Эту мерзость в обмен на молоко?» Но ничего подобного не происходит. Никогда. А если бы и произошло, если бы люди прозрели, разгадали обман с деньгами, что бы случилось? Тогда проявилась бы истинная натура человека. Я вскочил бы с постели, схватил первое попавшееся оружие и кинулся вслед за молочником. Конечно, в постели лежать приятно, но молоко тоже необходимо. Высыпали бы на улицу и соседи — им тоже нужно молоко. Молочник, внезапно поняв, что происходит, погнал бы свою лошадь изо всех сил. Держи его! Лови! Хватай! Тележку переворачивают! Деритесь сколько угодно, но не опрокиньте бидон! Разве вы не представляете себе эту сцену, где все разумно от начала до конца? Я возвращаюсь домой, окровавленный, в синяках, но зато с бидоном в охапку. Да, я захватил бидон, уж это я бы не прозевал... Но к чему продолжать? Вам лучше, чем остальным, должно быть известно, что жизнь — это борьба за существование, борьба за кусок хлеба. Деньги же — ложь, скрадывающая нашу дикость.

— Нет, — возразил Люишем. — Нет. Я не могу с этим согласиться.

— Что же такое, по-вашему, деньги?

— Договорите сначала вы, — постарался увильнуть от ответа мистер Люишем. — Я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к мошенничеству на сеансе.

— На этом я строю свою защиту. Возьмите, к примеру, какого-нибудь ужасно уважаемого человека, скажем, епископа.

— Видите ли, — ответил Люишем, — я не очень-то уважаю епископов.

— Неважно. Возьмите обычного ученого профессора. Обратите внимание на его костюм, который делает из него приличного гражданина и скрывает тот факт, что физически он — вырождающийся тип с большим брюхом и вялой мускулатурой. Вот вам первая ложь этого человека. На

манжетах его брюк бахромы нет, мой мальчик. Обратите внимание на его волосы, тщательно причесанные и подстриженные, словно они от природы длинной в полдюйма, что тоже ложь, ибо в действительности по ветру должны были бы развеяться всего несколько десятков рыжевато-седых волосков длиной в добрый ярд. Обратите внимание и на сдержанно-самодовольное выражение его лица. Во рту у него ложь в виде вставных зубов. А где-то на земле трудятся бедняки, добывая ему мясо, хлеб и вино. Одежда его соткана из судеб вечно сгорбленных над работой ткачей, огонь ему дают фосфорные спички, отравляющие тех, кто их изготавливает, ест он с тарелок, покрытых свинцовой глазурью, — весь путь его устлан человеческими жизнями... Подумайте об этом круглолицем, благополучном существе! И, как сказал Свифт, подумать только, что этакое существо еще гордится собой!.. Он делает вид, что его необыкновенные открытия служат в некотором роде справедливым вознаграждением за труд других, за их страдания. Он делает вид, что он и его паразитическая карьера — плата за их подавленные желания. Представьте, как он бранит своего садовника за плохо пересаженную герань; какой густой туман лжи должен окутывать их, чтобы садовник ребром лопаты тут же не поверг наглеца во прах, из которого тот и поднялся... Его пример — это пример всякой благополучной жизни. Какой ложью и обманом оборачивается вся вежливость, все хорошее воспитание, вся культура и изысканность, пока хоть один оборванный бедняк влачит на земле голодное существование!

— Но это же социализм! — воскликнул Люишем. — Я...

— Никаких «измов», — возразил Чеффери, повышая свой и без того звучный голос. — Одна только страшная правда, правда, заключающаяся в том, что основа человеческого общества — ложь. Тут не поможет ни социализм и никакой другой «изм». Таково положение вещей.

— Не могу согласиться... — начал было Люишем.

— ...с безнадежностью, потому что вы молоды, но с нарисованной картиной вы согласны.

— В известных пределах, пожалуй.

— Вы согласны, что общественное положение большинства уважаемых людей запятнано обманом, лежащим в основе наших социальных установлений. А без этого и уважать бы их не стали. Даже ваше собственное положение... Кто дал вам право жениться и заниматься интересными научными изысканиями, в то время как другие молодые люди заживо гниют в рудниках?

— Я признаю...

— Вы и не можете не признать. А вот вам мое положение. Поскольку



все в жизни запятнано обманом, поскольку жить и говорить правду свыше человеческих сил и мужества — как в этом нетрудно убедиться, — не лучше ли человеку заняться каким-нибудь откровенным и сравнительно безвредным мошенничеством, нежели рисковать своей душевной чистотой ради сомнительного благополучия и впасть в конце концов в самообман и фарисейство? Вот настоящая опасность. Вот против чего я всегда настороже. Берегитесь этого! Фарисейство — грех из грехов!

Мистер Люишем дергал себя за усы.

— Вы начинаете меня понимать. И, в сущности, эти достойные люди вовсе не так уж страдают. Если не я возьму у них деньги, заберет обманом кто-нибудь другой. Их безмерная уверенность в своих умственных способностях может вызвать к жизни и более гнусный обман, нежели мой шуточный стук. Так же рассуждают и наши неверующие епископы, а я чем хуже их? Эти деньги могли бы, например, достаться благотворительным учреждениям, или попасть в карман и без того разъявшегося секретаря, или пойти на уплату долгов блудного сынка. В сущности, на худой конец я нечто вроде современного Робин Гуда. Я взимаю подать с богатых соответственно их доходам. Разумеется, я не в состоянии оделять бедняков, ибо мне самому не хватает. Но зато я творю другие добрые дела. Немало слабых духом успокоил я своей ложью — стуком и разными глупостями — насчет загробной жизни. Сравните меня с этими негодяями, которые обогащаются за счет торговли фосфорными соединениями и свинцовыми ядами, сравните меня с миллионером, который содержит мюзик-холл, уделяя особое внимание актрисам, со страховщиком, с обычным биржевым маклером. Или с любым адвокатом...

— Есть епископы, — продолжал Чеффери, — которые верят в Дарвина и не верят в Моисея. Я, во всяком случае, считаю себя более достойным человеком, ибо, хотя я, быть может, и похож на них, но я лучше, я по крайней мере сам придумываю свои фокусы, да, сам.

— Все это очень хорошо... — опять начал Люишем.

— Я мог бы простить им их нечестность, — перебил его Чеффери, — но не глупость, не дурацкое отречение от разума. Господи! Если стряпчий плурует не по правилам, не по их жалким священным правилам, его выбрасывают вон, обвиняя в недостойном поведении.

Он умолк, задумался и чуть приметно усмехнулся.

— Некоторые из моих фокусов, — поворачиваясь к Люишему и многозначительно похлопывая по скатерти рукой, сказал он вдруг совершенно другим голосом и улыбнулся поверх очков, — некоторые из моих фокусов дьявольски ловко придуманы, знаете ли, дьявольски ловко и

стоят вдвое больше, вдвое больше, чем деньги, которые они мне приносят.

Он снова повернулся к огню, затягиваясь уже еле тлеющей трубкой и поглядывая на Люишема уголком глаза поверх очков.

— Кое-какие мои находки озадачили бы самого Маскилайна<sup>[26]</sup>, — сказал он. — Его знаменитая шарманка, наверное, сама заиграла бы от удивления. Я обязательно должен некоторые из них вам объяснить, поскольку мы теперь породнились.

Мистеру Люишему не сразу удалось восстановить течение своих мыслей, ибо он окончательно был сбит с толку безудержной погоней за быстролетными аргументами Чеффери.

— Но если следовать вашим принципам, то можно делать все, что заблагорассудится! — возразил он.

— Совершенно верно! — подтвердил Чеффери.

— Но...

— Довольно странный метод, — сказал Чеффери, — судить о принципах человека, исходя в оценке его поступков из совершенно других принципов.

Люишем на минуту задумался.

— Пожалуй, — наконец сказал он с видом человека, убежденного против своей воли.

Он сознавал, что его логика недостаточно сильна. И тогда решил отказаться от тонкостей вежливого спора. Ему пришло на ум несколько сентенций, приготовленных им заранее, и он в несколько резкой форме поспешил их изложить.

— Во всяком случае, — заключил он, — с обманом я не согласен. Что бы вы ни говорили, я придерживаюсь мнения, высказанного в моем письме. Со всеми этими делами Этель покончила. Я не намерен ничего предпринимать специально, чтобы разоблачить вас, но, если мне придется, я не стану скрывать того, что думаю о спиритических явлениях. Пусть вам это будет ясно раз и навсегда.

— Мне и так ясно, мой дорогой зятек, — сказал Чеффери. — Однако в данный момент мы ведем разговор не об этом.

— Но Этель...

— Этель ваша, — ответил Чеффери. — Этель ваша, — повторил он секунду спустя и задумчиво добавил: — Содержать ее будете вы.

— Но возвратимся к иллюзии, — снова заговорил он, с явным облегчением отказываясь от столь прозаической темы. — Подчас я согласен с епископом Беркли, что весь опыт есть, вероятно, нечто совершенно отличное от действительности. Что знание по существу своему

иллюзорно. Я, вы и наш с вами разговор — все это лишь иллюзия. Что такое я, согласно вашей науке? Облако бесчисленных атомов, бесконечное сочетание клеточек. Рука, которую я протягиваю, — это я? А голова? Разве поверхность моей кожи — не сугубо приблизительная, не грубо условная грань? Вы скажете, я — это мой разум? Но вспомните борьбу стремлений. Предположим, у меня появляется какое-нибудь желание, которое я сдерживаю, — это я его сдерживаю — значит, желание вне меня, оно не я, так? Но предположим, оно пересиливает меня и я ему подчиняюсь — тогда, значит, это желание — часть меня самого, не так ли? А! У меня голова идет кругом от всех этих загадок! Боже! Какие мы легковесные, неустойчивые существа: то одно, то другое, мысль, желание, поступок, забвение, — и все время мы до нелепости уверены, что мы — это мы! Что же касается вас, то вы, всего каких-нибудь пять-шесть лет назад научившись мыслить, сидите здесь в уверенности, что вам все понятно, сидите во всем вашем унаследованном первородном грехе — начиненная галлюцинациями соломинка — и судите и осуждаете. Вы, видите ли, умеете различать добро и зло! Мой мальчик, это умели делать и Адам с Евой... как только познакомились с отцом лжи!

В конце вечера появились виски и горячая вода, и Чеффери, проникнувшись величайшей учтивостью, заявил, что редко получал столько удовольствия, как от разговора с Люишемом, и настоял, чтобы все присутствующие выпили виски. Миссис Чеффери и Этель добавили себе сахар и лимон. Люишем немного удивился, увидев, как Этель пьет грог.

У дверей миссис Чеффери снова с энтузиазмом расцеловала на прощание Люишема. Она искренне верит, сказала она Этель, что все к лучшему.

По дороге домой Люишем был задумчив и озабочен. Проблема Чеффери приняла гигантские размеры. Временами даже философский автопортрет этого мошенника, довольно остроумно и художественно живописавшего себя выразителем духа истины, представлялся ему не лишенным убедительности. Лэггюн, бесспорно, осел, а своими спиритическими изысканиями он, вероятно, просто сам напрашивается на жульничество. Затем он припомнил, что все это имеет непосредственное отношение к Этель...

— За ходом рассуждений твоего отчима довольно трудно следить, — сказал он, уже сидя на кровати и снимая ботинки. — Он хитер, чертовски хитер. Не разберешь, где и поймать-то его. Он столько наговорил, что начисто сбил меня с толку.

Люишем подумал немного, потом снял ботинок и так и остался сидеть,

держа его на коленях.

— Все, что он наговорил, разумеется, сплошная чепуха. Правда есть правда, а обман есть обман, что бы там ни рассказывали.

— Вот и я так думаю, — ответила Этель, глядясь в зеркало. — Именно так и я считаю.

## 24. Подготовка кампании

В субботу Люишем первым появился из-за створчатой двери. Через секунду он снова очутился в спальне, держа что-то в руке. Миссис Люишем так и застыла с юбкой на весу, изумленная тем изумлением, которое было написано на лице ее мужа.

— Посмотри-ка, — сказал Люишем.

Она взглянула в книгу, которую он держал раскрытой, и увидела длинный перечень предметов на неразборчивой смеси английского и немецкого языков, а рядом вертикальный столбец цифр, исполненный мрачного смысла. «1 терка угля — 6 п.» — такая строчка то и дело повторялась в этом зловещем списке, начиная и завершая его. Это был первый счет от мадам Гэдоу. Этель взяла его из рук мужа, чтобы рассмотреть поближе. Но и вблизи итог не сделался меньше. Их нагло обсчитывали! Им как-то сразу перестало казаться смешным, что хозяйка путает ведерко с теркой.

Этот документ, насколько я понимаю, положил конец неофициальному медовому месяцу мистера Люишема. Появление его было похоже на историю с брильянтовой подвеской принца Руперта: мгновение — и все обратилось в прах. Целую неделю Люишем жил в блаженном убеждении, что жизнь соткана из любви и тайны, а теперь ему с удивительной ясностью напомнили, что она складывается из борьбы за существование и из воли к победе. «Возмутительная наглость!» — кипятился мистер Люишем, и завтрак на сей раз проходил в необычной, насыщенной грозой атмосфере: с одной стороны — гневное ворчание, с другой — испуг и оцепенение.

— Придется сегодня же после обеда поговорить с нею, — взглянув на часы, сказал Люишем.

Он-запихал свои книги в блестящий черный портфель и поцеловал Этель — то был первый их поцелуй, не ставший многозначительной и торжественной церемонией. Он был данью привычке, да к тому же еще поспешной, ибо Люишем опаздывал на занятия, и дверь за ним захлопнулась. Этель в то утро не должна была провожать его, потому что, во-первых, он особо просил ее об этом, а во-вторых, она хотела помочь ему и собиралась переписать для него кое-какие лекции по ботанике, в которой он сильно отстал.

По дороге в школу Люишем испытывал нечто подозрительно похожее

на упадок духа. Рассудок его был занят в основном соображениями арифметического свойства. Мысль, владевшую им настолько, что исключалось появление любой другой мысли, лучше всего представить в общепринятой деловой форме:

Приход:

Наличные деньги (м-р Л.) — 13 ф. 10 ш. 4 1/2 п.

Наличные деньги (м-сс Л.) — 0 ф. 11 ш. 7 п.

В банке — 45 ф.

Стипендия — 1 ф. 1 ш.

Итого — 60 ф. 3 ш. 11 1/2 п.

Расход:

Проезд в омнибусе до Южного Кенсингтона (по случаю опоздания) 2 п.

6 завтраков в студенческом клубе — 5 ш. 2 1/2 п.

2 пачки сигарет (курить после обеда) — 6 п.

Женитьба и переезд — 4 ф. 18 ш. 10 п.

Необходимые добавления к приданому невесты — 16 ш. 1 п.

Расход по хозяйству — 1 ф. 1 ш. 4 1/2 п.

«Несколько мелочей», нужных для хозяйства — 15 ш. 3 1/2 п.

Мадам Гэдоу за уголь, квартиру и обслуживание (по счету) — 1 ф. 15 ш.

Утеряно — 4 п.

Остаток — 50 ф. 11 ш. 2 п.

Итого — 60 ф. 3 ш. 11 1/2 п.

Из этой записи даже самому неделовому человеку ясно, что, если не считать чрезвычайных трат на женитьбу и «нескольких мелочей», купленных Этель, расходы превысили доход на два с лишним фунта, а короткий экскурс в область арифметики продемонстрирует, что через двадцать пять недель «остаток» в правой колонке будет равен нулю.

А между тем гинею в неделю он будет получать совсем не двадцать пять недель, а всего лишь пятнадцать, и тогда издержки основного капитала составят более трех гиней, что уменьшает назначенный нашим молодым людям «законный срок» до двадцати двух недель. Утонченному вкусу читателя эти подробности, несомненно, утомительны и неприятны, но только представьте себе, насколько неприятнее они были мистеру

Люишему, в задумчивости шагавшему на занятия. Вы поймете, почему он ускользнул из лаборатории и укрылся в читальном зале, где наблюдательный Смизерс, который зубрил свои лекционные записи, готовясь к теперь уже близкому второму экзамену на медаль Форбса, снова был потрясен до глубины души, когда увидел Люишема, лихорадочно листающего страницы целой кипы периодических изданий: «Образование», «Педагогический журнал», «Школьный учитель», «Наука и ремесла», «Универсальный корреспондент», «Природа», «Атенеум», «Академия» и «Автор».

Заметив, что Люишем достал из кармана записную книжку и принялся делать в ней какие-то пометки, Смизерс протиснулся в проход возле его стола и, вынырнув с фланга, пошел в атаку.

— Что вы разыскиваете? — громким шепотом обратился он к Люишему, в то же время бросая внимательный взгляд на журналы.

Он убедился, что Люишем изучает колонку объявлений, и его недоумение еще больше возросло.

— Так, ничего, — тихо ответил Люишем, прикрывая рукой свои записи. — А вы чем теперь заняты?

— Ничем особенным, — ответил Смизерс, — просто слоняюсь по залу. Вы не были на собрании в прошлую пятницу?

Он повернул стул, встал на него коленями и, облокотясь на спинку, принялся шепотом повествовать о делах Дискуссионного клуба. Люишем слушал его невнимательно и отвечал предельно кратко. Что ему до всех этих ребячеств! Наконец Смизерс, совсем сбитый с толку, удалился, столкнувшись в дверях с Парксоном. Парксон, между прочим, не разговаривал с Люишем после происшедшей между ними тягостной размолвки. Пробираясь к своему месту в конце стола, он кружным путем обошел Люишема, а усевшись, горделиво вскинул голову и принял исполненный достоинства вид, давая тем самым понять, как оскорбительно для него присутствие Люишема.

Люишем рылся в журналах, преследуя сразу две цели. Он хотел изыскать какой-нибудь способ самому зарабатывать деньги в дополнение к той гинее, что получал еженедельно, и, кроме того, желал изучить спрос на переписку на пишущей машинке. Что касается его лично, то у него была смутная надежда, от которой сразу же пришлось отказаться, что, быть может, ему удастся на март заполучить какие-нибудь вечерние уроки. Но состав преподавателей в вечерних классах Лондона сохраняется в неизменности с сентября по июль — вакансии может появиться разве только по причине скоропостижной смерти одного из педагогов. Частные

уроки были еще более привлекательны, но спроса на них он не обнаружил. О своих собственных способностях представление у него было еще юношески наивным, иначе он не тратил бы понапрасну столько времени, отмечая у себя в книжке наличие вакантной должности профессора физики в Мельбурнском университете. Он учел также возможность занять место редактора ежемесячника, посвященного социальным проблемам. Он бы вовсе не отказался от такого рода работы, хотя владелец журнала, возможно, и отказался бы от его услуг. Было еще вакантное место хранителя музея при Итонском колледже.

Что до переписки на машинке, то здесь такого разнообразия не было, зато все выглядело куда определеннее. В те дни жестокая конкуренция между людьми полуобразованными еще не довела цену за переписку на машинке до страшной цифры в десять пенсов за тысячу слов, и обычная цена составляла тогда один шиллинг шесть пенсов. Исходя из того, что Этель могла печатать тысячу слов в час и что она была способна работать пять-шесть часов в день, он пришел к выводу, что ее вкладом в семейный капитал никоим образом не следует пренебрегать. Она может заработать тридцать шиллингов в неделю. Сделав это открытие, Люишем, естественно, повеселел. Правда, на страницах журналов ему не попалось ни одного объявления о том, что литератору или кому-нибудь еще нужна машинистка, зато машинистки во множестве предлагали свои услуги. Очевидно, и Этель придется дать объявление. Нужно будет вставить слова: «Специальность — научная фразеология», — решил Люишем. Он вернулся домой окрыленный надеждами и сведениями о вакансиях. В тот день ему пришлось истратить на марки целых пять шиллингов.

Расправившись с обедом, Люишем — несколько взволнованный — попросил мадам Гэдоу зайти к ним. Она явилась в самом любезном расположении духа, ничуть не похожая на столь обычный в Англии тип недовольной квартирохозяйки. Она так и сыпала словами, отчаянно жестикулировала, что-то объясняла, но, к несчастью, говорила на смеси английского с немецким и в особо критические минуты предпочитала немецкий. Природная учтивость удерживала мистера Люишема от перехода границ этих двух государственных языков. Получасовые переговоры привели наконец к полюбовному соглашению — счет был уменьшен на шесть пенсов, — и обе стороны объявили себя удовлетворенными этим результатом.

Мадам Гэдоу оставалась хладнокровной до самого конца спора. У мистера Люишема лицо пылало, горели уши, волосы слегка растрепались, но уступка шести пенсов, во всяком случае, свидетельствовала о



справедливости его притязаний.

— Она, по-видимому, решила нас испытать, — чуть виноватым тоном разъяснил он Этель. — Во что бы то ни стало нужно было проявить твердость. Теперь у нас вряд ли возникнут подобные недоразумения...

— А то, что она говорила об угле для плиты, разумеется, справедливо.

Затем молодая пара отправилась на прогулку в Кенсингтон-гарденс, где по случаю столь прекрасной весенней погоды Люишем истратил Два пенса за право посидеть на двух заманчивых зеленых стульях неподалеку от оркестра. Между ними состоялся, по выражению Этель, «серьезный разговор». Она проявила поистине удивительное благоразумие и рассуждала очень серьезно и толково. Особенно много говорила она о необходимости экономии в домашних расходах и от души сокрушалась полному своему хозяйственному невежеству. Было решено приобрести солидное пособие по домоводству, которое ей предстоит тщательно изучить. У миссис Чеффери был дома свой оракул в хозяйственных делах — «Всеобщий справочник», но Люишем счел это творение антинаучным.

Этель полагала, что многому можно научиться и из шестипенсовых дамских журналов — однопенсовых в те дни почти не существовало. Эти издания она покупала еще тогда, когда у нее водились деньги, но в основном — о чем она сейчас горько сожалела — для того, чтобы почерпнуть сведения о новых фасонах шляп и тому подобной ерунде. Чем скорее они купят пишущую машинку, тем лучше. И тут Люишем вдруг сообразил, что не учел покупку пишущей машинки, когда производил подсчеты их ресурсов. Тем самым «законный срок» сокращался до двенадцати-тринадцати недель.

Весь вечер они сочиняли и переписывали письма, надписывали адреса на конвертах и приклеивали марки. Это были минуты, полные надежд.

— Мельбурн — прекрасный город, — говорил Люишем, — и нас ожидает чудесное путешествие.

Он прочел ей вслух свою просьбу о предоставлении ему должности профессора в Мельбурнском университете, прочел просто для того, чтобы послушать, как это звучит, но на нее перечень всех его научных успехов произвел глубокое впечатление.

— А я и не подозревала, что ты столько знаешь! — воскликнула она, и ей стало грустно от сознания, что она рядом с ним просто невежда.

Совершенно естественно, что, встретив дома такую поддержку, он стал писать свои письма в учительские агентства еще более самоуверенным тоном.

Объявление о переписке на машинке для «Атенеума» вызвало у него

небольшое угрызение совести. После того как он переписал свой черновик, особо выделив красивым шрифтом «Специальность — научная фразеология», ему на глаза попались записи лекций, которые она приготовила для него. Почерк у нее был по-прежнему по-мальчишески круглый, как и тогда на аллее в Хортли, но пунктуация ограничивалась лишь расставленными наобум запятыми и тире, а в правописании трудных слов замечалась склонность идти по линии наименьшего сопротивления. Однако он успокоил себя мыслью, что сможет перечитывать и выправлять ее работы перед отправкой. «Неплохо было бы, — подумал он, между прочим, — и самому проштудировать какое-нибудь толковое пособие по расстановке знаков препинания».

Они допоздна просидели за этим делом, совершенно позабыв о предстоящем завтра экзамене по ботанике. В их комнатке было светло и уютно, потому что пылал камин, горели газовые рожки и занавеси были задернуты, а то количество прошений, которое они составили, вселяло в их сердца надежду. Этель, раскрасневшаяся и возбужденная, то порхала по комнате, то наклонялась над Люишем — посмотреть, что он уже сделал. По просьбе Люиша она достала из ящика комода конверты.

— Ты у меня настоящая помощница, — сказал Люишем, откидываясь на спинку стула. — Для такой девушки я готов сделать все, я это чувствую.

— Правда? — воскликнула она. — Правда? Я вправду помогаю тебе?

Лицом и жестом Люишем выразил полное подтверждение своим словам. Она тихонько вскрикнула от восторга, на мгновение замерла, а потом, словно демонстрируя на деле свою готовность неизменно ему помогать, обежала вокруг стола с протянутыми к нему руками.

— Какой ты милый! — воскликнула она.

Люишем, уже заключенный в объятия, свободной рукой отодвинул стул, чтобы она могла сесть к нему на колени...

Кто мог бы усомниться, что она действительно ему помогает?

## 25. Первая битва

Учительство в вечерних классах и частные уроки интересовали Люишема только как временная мера. Мысли же его о более постоянных источниках дохода обнаруживали полную неспособность соразмерять свои желания и возможности. Профессорской должности в Мельбурнском университете, например, он никак не заслуживал, да и приглашению его вместе с женой в Итонский колледж также многое могло помешать. Сначала он был склонен считать выпускника Южного Кенсингтона интеллектуальной солью земли, изобилие свободных «приличных мест» с жалованьем от ста пятидесяти до трехсот фунтов в год — делом очевидным, а конкуренцию таких низкопробных заведений, как университеты Оксфорда и Кембриджа и колледжи Северной Англии, — несущественной. Но учительские агентства, к которым он обратился в следующую субботу, постарались довольно быстро вывести его из этого заблуждения.

Старший помощник мистера Блендершина в мрачной маленькой конторе на Оксфорд-стрит так красноречиво прояснил положение, что Люишем даже рассердился.

— Быть может, директором казенной школы? — спросил старший помощник мистера Блендершина. — Тогда почему бы уж не сразу епископом? Только послушайте, — обратился он к мистеру Блендершину, который в эту минуту с важным видом и сигарой в зубах вошел в комнату, — двадцать один год, ни степени, ни спортивных отличий, двухлетний стаж в качестве младшего учителя и желает быть директором казенной школы!

Он говорил так громко, что другие клиенты, ожидавшие в приемной, не могли его не слышать, и вдобавок выразительно тыкал пером в сторону Люишема.

— Но послушайте! — раздраженно перебил его Люишем. — Оттого я и обратился к вам, что не знаю, как взяться за дело самому.

С минуту мистер Блендершин пристально разглядывал Люишема.

— Какие у него свидетельства об образовании? — спросил он у своего помощника.

Тот перечислил все «логии» и «графии».

— Красная вам цена — пятьдесят и жить при школе, шестьдесят — если повезет, — решительно объявил мистер Блендершин.

— Что? — воскликнул мистер Люишем.

— Вам этого недостаточно?

— И речи быть не может.

— За восемьдесят можно получить выпускника Кембриджа, и он еще будет благодарен, — сказал мистер Блендершин.

— Но мне не нужно жить при школе, — заявил мистер Люишем.

— А приходящих мест крайне мало, — сообщил мистер Блендершин. — Крайне мало. Они хотят, чтобы вы и по ночам присматривали за воспитанниками. Кроме того, они боятся, что, живя отдельно, вы будете вести себя не совсем благопристойно.

— Вы, случайно, не женаты? — вдруг спросил помощник, внимательно изучив лицо Люишема.

— Видите ли... — Люишем встретился взглядом с мистером Блендершином. — Да, — признался он.

Помощник произнес нечто непечатное.

— Боже! Придется это скрывать, — сказал мистер Блендершин. — Нелегкую задачу вы себе задали. На вашем месте я бы подождал до получения диплома, раз уж это не за горами. Тогда у вас будет больше возможностей.

Молчание.

— Дело в том, — медленно заговорил Люишем, не отрывая глаз от носков своих ботинок, — что мне обязательно нужно чем-нибудь зарабатывать и теперь, до того, как я получу диплом.

Помощник тихонько присвистнул.

— Быть может, какие-нибудь уроки и найдутся, — размышлял мистер Блендершин. — Ну-ка, Бинкс, прочтите мне еще раз его данные. — Он внимательно слушал. — Что? Против религиозного обучения? — Он жестом остановил чтение. — Чепуха. Это уж, знаете ли... Вычеркните. Вам никогда не получить места в школах Англии, если вы будете возражать против религиозного обучения. Когда мамы... Боже сохрани! Забудьте об этом. Не верите, а кто верит? Таких, как вы, сотни, сотни! Даже священники есть. Забудьте об этом...

— А если спросят?

— Англиканской церкви. У нас всякий, кто не примкнул к диссидентам, принадлежит к англиканской церкви. И без того подыскать вам место будет довольно затруднительно.

— Но... — сомневался мистер Люишем, — это ведь ложь.

— Не ложь, а законный вымысел, — поправил его мистер Блендершин. — Это всякий понимает. Если же, мой дорогой юноша, вы

этого не сделаете, мы ничем не сможем вам помочь. Остается журналистика или лондонские доки. Но, учитывая ваш малый опыт, вернее сказать, только доки.

Лицо Люишема покрылось пятнами. Он ничего не ответил, а лишь хмурился и дергал себя за все еще далеко не густые усы.

— Компромисс, ничего не поделаешь, — сказал мистер Блендершин, доброжелательно поглядывая на него. — Компромисс.

Впервые в жизни Люишем столкнулся с необходимостью сознательно лгать. Он сразу соскользнул с суровых высот собственного достоинства, и следующая его реплика прозвучала уже неискренне.

— Я не могу обещать, что солгу, если меня спросят, — громогласно заявил он, — я этого сделать не могу.

— Вычеркните этот пункт, — велел Блендершин клерку. — Незачем об этом упоминать. Кроме того, вы не написали, что умеете преподавать рисование.

— Я не умею, — ответил Люишем.

— Раздавайте переснятые копии, — сказал Блендершин, — да следите, чтобы они не увидели, как вы рисуете.

— Но так не учат рисованию...

— У нас учат так, — объяснил ему Блендершин. — Не забивайте себе голову разными педагогическими методами. Они только мешают учителям. Впишите рисование. Затем стенография...

— Постойте! — возмутился Люишем.

— Стенография, французский, бухгалтерия, коммерческая география, землемерное дело...

— Но я не умею преподавать эти предметы!

— Послушайте, — начал Блендершин, но остановился. — У вас или у вашей жены есть состояние?

— Нет, — ответил Люишем.

— Так в чем же дело?

Молчание — и снова головокружительный спуск с крутых моральных высот, пока — трах! — на пути не возникло препятствие.

— Но меня быстро разоблачат, — сказал он.

Блендершин улыбнулся.

— Видите ли, здесь речь идет не столько об умении, сколько о желании. И никто вас не разоблачит. Те директора школ, с которыми мы имеем дело, не способны кого-либо разоблачить. Они сами не умеют преподавать эти предметы и, следовательно, считают, что сие вообще невозможно. Толкуй с ними о педагогике — они будут ссылаться на

практику. Но в свои программы они включают все эти предметы, а потому хотят иметь их и в расписании. Некоторые из этих предметов... Ну, скажем, коммерческая география... Что такое коммерческая география?

— Болтовня, — пояснил помощник, кусая кончик пера, и задумчиво добавил: — И вранье.

— Сплошной вымысел, — сказал Блендершин, — чистый вымысел. Газеты мелют вздор о коммерческом образовании, герцог Девонширский его подхватывает и плетет еще большую чепуху, представляется, будто сам все это придумал, — очень ему надо! — родители же рады ухватиться, вот директора школ и вынуждены включить этот предмет в программу, а значит, и учителям его полагается знать. Вот вам и вся недолга!

— Ладно, — согласился Люишем, у которого от стыда перехватило дыхание. — Вставьте эти предметы. Только помните: место приходящего преподавателя.

— Быть может, — сказал Блендершин, — вам и сослужат службу ваши естественные науки. Но, предупреждаю, дело не из легких. Разве что на вас польстится какая-нибудь школа, зарабатывающая себе финансовую поддержку графства. Больше, я полагаю, рассчитывать не на что. Запишите адрес...

Помощник буркнул что-то, отдаленно напоминающее слово «гонорар». Блендершин глянул на Люишема и неуверенно кивнул головой.

— За занесение в список полкроны, — объявил помощник. — И полкроны вперед — на почтовые расходы.

Но тут Люишем припомнил совет, который дал ему Данкерли еще в Хортли. Он заколебался.

— Нет, — сказал он. — Платить я не буду. Если вы мне что-нибудь подыщите, я заплачу за комиссию... Если же нет...

— Мы несем потери, — подсказал помощник.

— Приходится, — сказал Люишем. — Игра должна быть честной.

— Живет в Лондоне? — спросил Блендершин.

— Да, — ответил клерк.

— Ладно, — согласился Блендершин, — в таком случае на почтовые расходы мы с вас не возьмем. Правда, сейчас неподходящее время, поэтому на многое рассчитывать не приходится. Но иногда на пасху бывают перемещения... Все. Будьте здоровы. Есть там еще кто-нибудь, Бинкс?

Господа Маскилайн, Смит и Трамс работали по более высокому разряду, нежели Блендершин, который специализировался на второсортных частных школах и казенных учебных заведениях победнее. Такими важными господами были Маскилайн, Смит и Трамс, что они привели

Люишема в ярость, отказавшись сначала даже внести его фамилию в свои списки. Принимавший его молодой человек, одетый и говоривший с вызывающей безукоризненностью, не отрывал взора от его непромокаемого воротничка.

— Едва ли это по нашей части, — объявил он, бросив Люишему анкету, которую надлежало заполнить. — У нас в основном аристократические колледжи и начальные школы.

Пока Люишем заполнял анкету своими многочисленными «логиями» и «графиями», в комнату вошел, дружески поздоровавшись с безукоризненным молодым человеком, юноша с наружностью герцога. Склонившись над бумагой, Люишем успел заметить, что на его сопернике был длинный сюртук, лакированные ботинки и великолепнейшие серые брюки. Понятия Люишема о конкуренции сразу расширились. Безукоризненный молодой человек взглядом указал новоприбывшему на непромокаемый воротничок Люишема, и тот в ответ удивленно поднял брови и выразительно поджал губы.

— Этот субъект из Каслфорда мне ответил, — произнес новоприбывший приятным звучным голосом. — Что у него там, прилично?

Когда обсуждение субъекта из Каслфорда закончилось, Люишем подал заполненную анкету, и безукоризненный молодой человек, по-прежнему не спуская глаз с непромокаемого воротничка, взял ее с таким видом, словно протянул руку через пропасть.

— Сомневаюсь, чтобы мы сумели вам помочь, — заверил он Люишема. — Разве что представится место преподавателя английского языка. Естественные науки в наших школах не в большом почете. Классические языки и спорт — вот что у нас главное.

— Понятно, — отозвался Люишем.

— Спорт, хорошие манеры и тому подобное.

— Понятно, — повторил Люишем.

— Вы сами учились не в закрытой школе? — спросил безукоризненный молодой человек.

— Нет, — ответил Люишем.

— А где вы получили образование?

Лицо Люишема запылало.

— Какое это имеет значение? — спросил он, глядя на великолепные серые брюки.

— В наших школах большое. Это, знаете ли, вопрос хорошего тона.

— Понятно, — в третий раз повторил Люишем, обнаруживая в себе новые недостатки. Больше всего ему сейчас хотелось уйти, чтобы этот

элегантно одетый учитель не мог его рассматривать. — Вы, я надеюсь, напишете, если у вас найдется что-либо для меня? — спросил он, и безукоризненный молодой человек поспешил, утвердительно кивнув, раскланяться с ним.

— Часто такие попадают? — спросил элегантно одетый молодой человек после ухода Люишема.

— Довольно часто. Ну, не совсем такие, как этот. Вы заметили его непромокаемый воротничок? Уф! И его «понятно»? А хмурый взгляд и неуклюжесть? У него, конечно, нет приличного платья — он явится на новое место с одним обитым жестью сундучком! Но такие, как он, да еще учителя, живущие при школах, пролезают повсюду! Только на днях здесь был Роутон.

— Роутон из Пиннера?

— Он самый. И прямо заявил, что ему нужен живущий учитель. «Мне нужен человек, который умеет преподавать арифметику», — сказал он.

Он рассмеялся. Элегантно одетый молодой человек задумчиво разглядывал набалдашник своей трости.

— Такой субъект все равно там не уживется, — сказал он. — Если он и попадет в приличную школу, все равно ни один порядочный человек не захочет с ним знаться.

— Слишком толстокож, я думаю, чтобы его трогали подобные вещи, — заметил агент. — Новый тип учителя. Южно-Кенсингтонский колледж и политехникумы пекут их сотнями.

Новое открытие, что учителю следует быть хорошо одетым, заставило Люишема забыть свое возмущение необходимостью лгать в вопросах религии. Теперь он шел, не спуская глаз с витрин, в которых отражалась его фигура. Спорить не приходилось: брюки его стали совсем мешковатыми, они хлопали по ботинкам и пузырились на коленях, а ботинки были не только изношены до безобразия, но еще и прескверно почищены. Кисти рук уродливо торчали из рукавов пальто, воротник куртки заметно асимметричен, красный галстук плохо вывязан и перекошен, не говоря уж о непромокаемом воротничке. Воротничок лоснился, пожелтел, стал вдруг холодным и липким. Ну что из того, что он достаточно образован и может преподавать естествознание? Это еще ничего не значит. Он стал подсчитывать, во сколько обошелся бы ему полный гардероб. Такие серые брюки, какие он видел, не купить дешевле, чем за шестнадцать шиллингов, а сюртук стоит, самое меньшее, сорок, а то и больше. Он знал, что хорошая одежда дорога. У дверей Пула он постоял в нерешительности и повернул прочь. Нечего об этом и думать. Он пересек



Лейстер-сквер и пошел по Бедфорд-стрит, ненавидя всех попадавшихся ему на пути хорошо одетых людей.

Господа Дэнкс и Уимборн размещались в похожем на банк здании возле Ченсери-лейн и без разговоров вручили ему анкету для заполнения. «Религия?» — гласил один из вопросов. Люишем помедлил и написал: «Англиканская церковь».

Отсюда он проследовал в Педагогический колледж в Холборне. Педагогический колледж предстал перед ним в образе длиннобородого, дородного, спокойного господина с тоненькой золотой цепочкой от часов и пухлыми руками. У него были очки в позолоченной оправе и ласковое обращение, которое послужило целительным бальзамом для оскорбленных чувств Люишема. Снова были выписаны все «логии» и «графии», вызвав любезное изумление своим количеством.

— Вам бы нужно получить один из наших дипломов, — заметил дородный господин. — Это не составило бы для вас труда. Никакой конкуренции. И есть премии, несколько денежных премий.

Люишем не знал, что его непромокаемый воротничок на сей раз встретил сочувствующего наблюдателя.

— Мы читаем курс лекций и принимаем экзамены по теории и практике обучения. У нас единственное в стране учебное заведение, где проводятся экзамены по теории и практике обучения. Для преподавателей средних и старших классов. Не считая экзаменов на диплом учителя. Но у нас так мало слушателей — не более двухсот человек в год. В основном гувернантки. Мужчины, знаете ли, предпочитают преподавать кустарным способом. Это характерно для англичан — кустарный способ. Говорить об этом, правда, не полагается, но все равно придется, когда что-нибудь произойдет, а неприятности начнутся обязательно, если все будет продолжаться по-прежнему. Американские школы становятся лучше, да и немецкие тоже. Старые методы теперь не подходят. Я говорю это только вам, а вообще-то говорить это не полагается. Ничего нельзя сделать. Слишком многое приходится принимать во внимание. Однако... Но вам бы неплохо было получить наш диплом. Станете хорошим педагогом. Правда, тут уж я заглядываю вперед.

Он добродушно рассмеялся, как бы извиняясь за свою слабость, а затем, отставив в сторону все эти мудреные материи, объяснил Люишему возможности, которые дает диплом колледжа, после чего перешел и к другим возможностям.

— Можно давать частные уроки, — сказал он. — Вы бы не отказались позаниматься с отстающим учеником? Кроме того, иногда нас просят

рекомендовать приходящего преподавателя. В основном в женские школы. Но им требуются люди постарше, женатые, знаете ли.

— Я женат, — сказал Люишем.

— Что? — переспросил пораженный до глубины души представитель Педагогического колледжа.

— Я женат, — повторил Люишем.

— Боже мой! — воскликнул представитель Педагогического колледжа и с головы до ног оглядел мистера Люишема поверх очков в позолоченной оправе. — Боже мой! А я старше вас более чем вдвое и не женат. Двадцать один год! Вы... Вы давно женаты?

— Несколько недель, — ответил Люишем.

— Удивительно, — сказал представитель Педагогического колледжа. — Очень интересно... В самом деле! Ваша жена, должно быть, очень храбрая молодая особа... Извините меня. Вы знаете... Вам действительно нелегко будет найти себе место. Однако... Тем самым вы становитесь пригодным к преподаванию в женских школах; это во всяком случае. То есть в какой-то степени.

Явно возросшее уважение представителя Педагогического колледжа было приятно Люишему. Зато визит в медицинско-учительско-канцелярскую посредническую контору, расположенную за мостом Ватерлоо, вновь поверг его в уныние, и он решил повернуть домой. Еще задолго до дома он почувствовал усталость, а простодушная гордость тем, что он женат и активно борется с жестоким миром, исчезла. Уступка, сделанная им религии, оставила в душе горький осадок; а вопрос об обновлении гардероба был просто мучителен. Правда, он еще отнюдь не смирился с мыслью, что в лучшем случае может рассчитывать на сто фунтов в год, а вернее, и того меньше, однако постепенно эта истина проникала в его сознание.

День был серенький, с унылым, холодным ветром, в одном ботинке вылез гвоздь и отравлял существование. Нелепые промахи и глупейшие ошибки, допущенные им на недавнем экзамене по ботанике, о которых ему удалось некоторое время не думать, теперь не выходили у него из головы. Впервые со дня женитьбы его охватило предчувствие неудачи.

Придя домой, он хотел сразу устроиться в маленьком скрипучем кресле возле камина, но Этель выскочила из-за стола, на котором стояла недавно купленная машинка, и кинулась к нему с распростертыми объятиями.

— Как мне было скучно! — воскликнула она.

Но он не почувствовал себя польщенным.

— Я не так уж весело провел время, чтобы ты могла жаловаться на скуку, — возразил он совершенно новым для нее тоном.

Он освободился из ее объятий и сел. Потом, заметив выражение ее лица, виновато добавил:

— Я просто устал. И этот проклятый гвоздь в ботинке, его нужно забить. Ходить по агентствам довольно утомительно, но ничего не поделаешь. А как ты тут была без меня?

— Ничего, — ответила она, не сводя с него глаз. — Ты и вправду устал. Сейчас мы выпьем чаю. А пока... Позволь мне снять с тебя ботинки. Да, да, непременно.

Она позвонила, выбежала из комнаты, крикнула вниз, чтобы подали чай, прибежала обратно, принесла из спальни какую-то подушечку из запасов мадам Гэдоу и, встав на нее коленями, принялась расшнуровывать ему ботинки. Настроение у Люишема сразу изменилось.

— Ты молодец, Этель, — сказал он. — Пусть меня повесят, если это не так.

Она потянула шнурки, а он наклонился и поцеловал ее в ухо. После этого расшнуровка была приостановлена, уступив место взаимным изъяснениям нежности...

Наконец, обутый в домашние туфли, он сидел у камина с чашкой чая в руке, а Этель, стоя на коленях на коврике у его ног — блики огня играли на ее лице, — принялась рассказывать ему о том, что днем она получила письмо в ответ на свое объявление в «Атенеуме».

— Очень хорошо, — одобрил Люишем.

— От одного романиста, — продолжала она с огоньком гордости в глазах и подала ему письмо. — Лукас Холдернесс, автор «Горнила греха» и других вещей.

— Да это просто отлично, — не без зависти сказал Люишем и нагнулся, чтобы при свете камина прочесть письмо.

Письмо с обратным адресом «Джад-стрит, Юстон-роуд» было написано на хорошей бумаге красивым круглым почерком, каким, по представлению смертных, и должны писать романисты. «Уважаемая сударыня, — гласило письмо, — я намерен выслать вам заказной почтой рукопись трехтомного романа. В рукописи около 90.000 слов, но более точно вам придется подсчитать самой».

— Как это подсчитывают, я не знаю, — сказала Этель.

— Я покажу тебе, — ответил Люишем. — Ничего сложного. Пересчитаешь слова на трех-четырёх страницах, найдешь среднюю цифру и умножишь на количество страниц.

«Но, разумеется, прежде чем выслать рукопись, я должен иметь достаточные гарантии в том, что вы не злоупотребите моим доверием и что качество работы будет удовлетворять самым высоким требованиям».

— Ах ты, — сказал Люишем, — какая досада!

«А потому прошу вас представить мне рекомендации».

— Вот это может быть настоящим препятствием, — сказал Люишем. — Этот осел Лэгьюн, наверное... Но что здесь за приписка? «Или, если таковых не имеется, в качестве залога...» Что ж, по-моему, это справедливо.

Залог требовался весьма умеренный — всего одна гинея. Даже если бы у Люишема и зародились сомнения, один лишь вид Этель, жаждущей помочь, стремящейся получить работу, заставил бы забыть их навсегда.

— Пошлем ему чек, пусть видит, что у нас есть счет в банке, — сказал Люишем (он до сих пор еще гордился своей банковской книжкой). — Пошлем ему чек. Это его успокоит.

В тот же вечер, после того как был отправлен чек на одну гинею, произошло еще одно приятное событие: прибыло письмо от господ Дэнкса и Уимборна. Оно было прескверно отпечатано на ротапринте и извещало об имевшихся вакансиях. Всюду требовались учителя, живущие при школе, что явно не подходило для Люишема, но все равно получение этого письма внушило бодрость и уверенность в том, что дела идут и что в обороне осажденного ими мира есть свои бреши и слабые места. После этого, отрываясь время от времени от работы, чтобы оказать Этель ласковое внимание, Люишем принялся просматривать свои прошлогодние тетради, ибо теперь, с окончанием курса ботаники, на очереди стоял повышенный курс зоологии — последний, так сказать, этап в состязании за медаль Форбса. Этель принесла из спальни свою лучшую шляпку, чтобы внести кое-какие усовершенствования в ее отделку, и села в маленькое кресло у камина, а Люишем, разложив перед собой записи, устроился за столом.

Расположив для пробы совсем по-новому васильки на своей шляпке, она подняла глаза и обнаружила, что Люишем больше не читает, а беспомощно смотрит в какую-то точку на застланном скатертью столе и взгляд у него очень несчастный. Позабыв о своих васильках, она глядела на него.

— О чем ты? — спросила она немного погодя.

Люишем вздрогнул и оторвал глаза от скатерти.

— Что?

— Отчего у тебя такой несчастный вид? — спросила она.

— У меня несчастный вид?

— Да. И злой!

— Я думал о том, что хорошо бы живьем окунуть в кипящее масло какого-нибудь епископа.

— О боже!

— Им прекрасно известны те положения, против которых они направляют свои проповеди, они знают, что не верить — это не значит быть безумцем или бандитом, это не значит причинять вред другим; им прекрасно известно, что человек может быть честным, как сама честность, искренним, да, искренним и порядочным во всех отношениях, и не верить в то, что они проповедуют. Им известно, что человеку нужно лишь немного поступиться честью, а он признает любую веру. Любую. Но они об этом молчат. Мне кажется, они хотят, чтобы все были бесчестными. Если человек достаточно состоятелен, они без конца раболепствуют перед ним, хоть он и смеется над всеми их проповедями. Они готовы принимать сосуды на алтарь от содержателей увеселительных заведений и ренту с трущоб. Но если человек беден и не заявляет во всеуслышание о своей вере в то, во что они сами едва ли верят, тогда они и мизинцем не шевельнут, чтобы помочь ему в борьбе с невежеством их последователей. В этом твой отчим прав. Они знают, что происходит. Они знают, что людей обманывают, что люди лгут, но их это ничуть не тревожит. Да и к чему им тревожиться? Они ведь убили в себе совесть. Они беспринципны, так почему же не быть беспринципными нам?

Избрав епископов в качестве козлов отпущения за свой позор, Люишем был склонен даже гвоздь в ботинке приписать их коварным проискам.

Миссис Люишем была озадачена. Она осознала смысл его речей.

— Неужели ты, — голос ее упал до шепота, — неверующий?

Люишем угрюмо кивнул.

— А ты нет? — спросил он.

— О нет! — вскричала миссис Люишем.

— Но ведь ты не ходишь в церковь, ты не...

— Не хожу, — согласилась миссис Люишем и добавила еще увереннее: — Но я верующая.

— Христианка?

— Наверное, да.

— Но христианство... Во что же ты веришь?

— Ну, в то, чтобы говорить правду и поступать честно, не обижать людей, не причинять им боли.

— Это еще не христианство. Христианин — это тот, кто верит.

— А я это понимаю под христианством, — заявила миссис Люишем.

— В таком случае, любой может считаться христианином, — возразил Люишем. — Все знают, что хорошо поступать хорошо, а плохо — плохо.

— Но не все так поступают, — сказала миссис Люишем, снова принявшись за свои васильки.

— Не все, — согласился Люишем, немного озадаченный женской логикой. — Разумеется, не все так поступают.

Минуту он смотрел на нее — она сидела, склонив чуть набок голову и опустив глаза на васильки, — и мысли его были полны странным открытием. Он хотел было что-то сказать, но вернулся к своим тетрадам.

Очень скоро он снова смотрел в какую-то точку на середине стола.

На следующий день мистер Лукас Холдернесс получил чек на одну гинею. К сожалению, больше в чек вписать было ничего нельзя: не оставалось места. Некоторое время Холдернесс раздумывал, а затем, взяв в руки перо и чернила, исправил небрежно написанное Люишемом слово «один» на «пять», а единицу соответственно на пятерку.

Это был, как вы могли бы убедиться, худощавый человек с красивым, но мертвенно-бледным лицом, обрамленным длинными черными волосами, в полудуховном одеянии, порыжевшем до крайности. Свои действия он производил со степенной старательностью. А затем отнес чек одному бакалейщику. Бакалейщик недоверчиво посмотрел на чек.

— Если сомневаетесь, — сказал мистер Лукас Холдернесс, — отнесите чек в банк. Отнесите его в банк. Я не знаком с этим человеком, не знаю, кто он. Быть может, он и мошенник. Я за него не отвечаю. Отнесите в банк и проверьте. Сдачу оставьте пока у себя. Я могу подождать. Я найду через несколько дней.

— Все в порядке, не так ли? — осторожно спросил мистер Лукас Холдернесс через два дня.

— В полном порядке, сэр, — ответил бакалейщик с возросшим к покупателю уважением и вручил ему сдачу в четыре фунта, тринадцать шиллингов и шесть пенсов.

Мистер Лукас Холдернесс, который с жадным вниманием взирал на товары бакалейщика, сразу оживился и купил банку лососины. Затем он вышел из лавки, зажав деньги в кулаке, ибо карманы его были порядком изношены и доверять им не приходилось. В булочной он купил свежую булку.

Выйдя из булочной, он тотчас откусил от булки огромный кусок и

пошел дальше, жуя на ходу. Кусок был такой большой, что губы мистера Холдернесса безобразно растянулись. Он с усилием глотал, каждый раз вытягивая шею. Взгляд его выражал животное удовлетворение. Он свернул за угол Джад-стрит, снова откусив от булки, и больше наш читатель, а заодно и Люишемы о нем никогда не услышат.

## 26. Блеск тускнеет

Вообще-то говоря, вся эта розовая пора влюбленности — ухаживание, свадьба и торжество любви — всего лишь заря, за которой следует долгий, ясный трудовой день. Как бы мы ни пытались удержать эти восхитительные минуты, они уходят, неумолимо исчезают навсегда; им нет возврата, они неповторимы, и только глупцы селятся сохранить видимость, лицемерно выставляя на обозрение в затемненных закоулках восковые фигуры минувшего. Жизнь идет своим чередом: мы растем, мы старимся. Наша молодая пара, выбравшись наконец из предрассветного сумрака, расцвеченного звездами, впервые разглядела друг друга в ясном свете будничного дня и обнаружила, что над головой у них сгущаются тучи.

Будь Люишем человеком более тонкой душевной организации, отрешение шло бы исподволь, не затрагивая их достоинства; тогда речь велась бы о трогательных попытках скрыть разочарование и сохранить атмосферу доверия и порядочности. Но день наступил, и наша молодая пара оказалась слишком неподготовленной. Мы уже упомянули о первых едва ощутимых расхождениях во взглядах, и было бы утомительно и скучно повествовать обо всех мелочах, углублявших конфликт их индивидуальностей. Они ссорились, сударыня! Говорили друг другу резкие слова. Их постоянно тревожило то, что «капитал» на исходе, заботились поиски работы, которую никак не удавалось найти. Не прошли бесследно для Этель и те долгие, ничем не заполненные часы, которые она проводила в скучном и тоскливом одиночестве. Раздоры возникали по поводам, казалось, совершенно незначительным; как-то целую ночь Люишем пролежал без сна, до глубины души изумленный тем, что Этель, оказывается, абсолютно нет дела до благосостояния человечества, а его социалистические идеалы она назвала «неприличными фантазиями». Как-то под вечер в воскресенье они отправились гулять в самом благоприятном расположении духа, а вернулись злые и покрасневшиеся, на ходу обмениваясь репликами самого ядовитого свойства, и все из-за романов, которыми зачитывалась Этель. По какой-то необъяснимой причине Люишем ненавидел эти романы жгучей ненавистью. Подобные семейные битвы были по большей части лишь кратковременными стычками, вслед за которыми после недолгого обиженного молчания наступало примирение с объяснениями или без оных, но иногда это примирение только вновь растравляло заживающую рану. И каждая такая размолвка оставляла новый



рубец, затушевывая еще один оттенок в романтическом колорите их отношений.

Работы не было. Пять долгих месяцев поисков, и никакого заработка, если не считать двух пустяков. Один раз Люишем, участвуя в конкурсе, объявленном грошовым еженедельником, получил целых двенадцать шиллингов, и трижды прибывали совсем уже небольшие рукописи для перепечатки от одного поэта, которому, по-видимому, попало на глаза объявление в «Атенеуме». Звали этого поэта Эдвин Пик Бэйнс; почерк у него был размашистый и еще не окончательно сформировавшийся. Он прислал несколько набросанных на клочках бумаги коротких лирических стихотворений с просьбой «красиво и во-разному перепечатать по три экземпляра каждое», добавив, что «их нельзя соединять металлическими скрепками, а следует прошить шелковой ниткой соответствующего цвета». Наши молодые люди были весьма озадачены подобными наставлениями. Одно стихотворение называлось «Птичья песнь», другое — «Тени облаков», а третье — «Эрингиум», но, по мнению Люишема, их можно было все объединить под общим названием «Вздор». В качестве оплаты этот поэт прислал в нарушение всех почтовых правил полсоверена в обычном конверте с указанием принять остаток денег в счет будущей работы. Довольно скоро поэт явился сам и принес исчерканные экземпляры своих стихов с непонятным наставлением поперек каждого листа: «В таком же духе, только еще получше».

Люишема дома не было, дверь отворила Этель, и таким образом это письменное пожелание оказалось излишним.

— Он совсем еще мальчик, — заметила Этель, пересказывая свой разговор с поэтом Люишему.

У них обоих было такое чувство, что юный возраст Эдвина Пика Бэйнса лишает надежности даже этот заработок.

Со дня женитьбы и до последнего экзамена в июне жизнь Люишема таила в себе какую-то двойственность. Дома была Этель, дома были мучительные поиски заработков и постоянное раздражение на мадам Гэдоу, всякими ухищрениями пытавшуюся побольше «содрать» с них по счету, и среди всего этого он чувствовал себя совершенно взрослым; но на занятиях в Кенсингтоне он превращался в зеленого юнца, недисциплинированного и обманувшего надежды студента со склонностью к зубоскальству. В колледже он, как и полагается студенту, носился с теориями и идеалами; в маленьких комнатах в Челси, где с наступлением лета стало особенно душно и повсюду валялись грошовые романы, которые накупала Этель, жизнь приобретала строгую конкретность, и идеалы уступали место

реальности.

Он смутно сознавал, как узок был мир его зрелости. Единственными их гостями были супруги Чейфери. Сам Чейфери имел обыкновение являться к ужину и, несмотря на свою беспринципность, завоевывал симпатии Люиша остроумными разглагольствованиями, а также почтительным, даже завистливым отношением к его научным занятиям. Более того, со временем Люишем заметил, что начал разделять ожесточение Чейфери против тех, кто правит миром. Приятно было слушать, как он расправляется с епископами и прочими властью имущими. Он говорил именно то, что хотел бы высказать сам Люишем. Миссис же Чейфери — существо невзрачное, нервное, неопрятное — частенько забегала к ним, но, как только Люишем возвращался домой, тотчас исчезала. Она являлась, потому что Этель, несмотря на святую свою убежденность в том, что любовь — «это все», находила свою замужнюю жизнь в отсутствие Люиша скучной и однообразной. Когда же Люишем появлялся, миссис Чейфери спешила уйти, дабы не усугублять той раздражительности, какую вызывала в нем борьба с окружающим миром. В Кенсингтоне он никому не рассказывал о своей женитьбе, сначала потому что это был такси восхитительный секрет, а потом по другим причинам. Поэтому те два мира, в которых он существовал, не соприкасались. Границей их служили железные решетчатые ворота колледжа. Но наступил день, когда Люишем прошел через эти ворота в последний раз, и на этом его юность закончилась навсегда.

Заключительный экзамен по курсу биологии, экзамен, который означал прекращение еженедельного дохода в одну гинею, он сдал плохо — он это понимал. Вечером в последний день лабораторных занятий он провозился допоздна, разгоряченный, измученный, со спутанными волосами и горящими ушами. Он сидел до конца, упрямо стараясь овладеть собой и препарировать для исследования под микроскопом реснитчатое волокно выделительного организма земляного червя. Но реснитчатые волокна не поддаются тем, кто в течение семестра пренебрегал лабораторными занятиями. Наконец Люишем встал, сдал свою письменную работу почтенного вида угрюмому молодому ассистенту профессора, который когда-то — восемь месяцев назад — так радушно приветствовал его появление, и направился к двери, возле которой толпились остальные студенты.

Смизерс громко разглагольствовал о том, как «зверски трудно отличить проклятое волокно», а его внимательно слушал лопухий юноша.

— А вот и Люишем! Как у вас дела? — спросил Смизерс, не скрывая

довольства собой.

— Плохо, — не останавливаясь, коротко бросил Люишем.

— Препарировали? — крикнул вдогонку Смизерс.

Люишем сделал вид, будто не слышит.

Мисс Хейдингер стояла со шляпой в руках и смотрела на разгоряченного Люишема. Он прошел было мимо, но что-то в ее лице заставило его, несмотря на собственное волнение, остановиться.

— Вам удалось отделить волокно? — спросил он со всей любезностью, на какую был способен.

Она отрицательно покачала головой и, в свою очередь, спросила:

— Вы идете вниз?

— Пожалуй, — ответил Люишем все еще обиженным голосом.

Он отворил стеклянную дверь, что вела из коридора на лестничную площадку. Один пролет крутой винтовой лестницы они миновали в полном молчании.

— Придете снова на будущий год? — спросила мисс Хейдингер.

— Нет, — ответил Люишем. — Больше я сюда не приду. Никогда.

Молчание.

— А чем вы будете заниматься? — спросила она.

— Не знаю. Мне нужно как-то зарабатывать на жизнь. Это и беспокоило меня всю сессию.

— Я думала... — начала было она, но остановилась. — Опять поедете к своему дяде? — спросила она.

— Нет. Я останусь в Лондоне. Поездка в деревню отвлекает от дела. И, кроме того... Я, можно сказать, поссорился с дядей.

— Чем же вы намерены заняться? Преподавать?

— Хотелось бы преподавать. Не знаю, найду ли уроки. Я готов взяться за все что угодно.

— Понятно, — сказала она.

Некоторое время они шли молча.

— А вы, наверное, продолжите занятия? — спросил он.

— Попытаюсь поступить на курс ботаники, если найдется для меня место. Я вот о чем думаю: иногда, бывает, кое-что случайно узнаешь... Дайте мне ваш адрес. Вдруг я услышу о чем-нибудь подходящем.

Люишем остановился на середине лестницы и задумался.

— Разумеется, — согласился он.

Но адреса ей так и не дал. Поэтому у подножия лестницы она спросила его об этом вторично.

— Проклятое волокно!.. — сказал он. — У меня все из головы

повылетало.

Они обменялись адресами, записав их на листочках, вырванных из блокнота мисс Хейдингер.

Она подождала, пока он расписался в книге. У железных ворот она сказала:

— Я иду через Кенсингтон-гарденс.

Но он уже злился на то, что дал ей свой адрес, и потому не заметил косвенно выраженного ею приглашения.

— А я в Челси.

Минуту она помедлила в нерешительности, озадаченно глядя на него.

— В таком случае прощайте, — сказала она.

— Прощайте, — ответил он, приподымая шляпу.

Медленно пересек он Эгсибишн-роуд, держа в руках свой битком набитый блестящий портфель, теперь уже во многих местах потрескавшийся, задумчиво дошел до угла Кромвель-роуд и свернул по ней направо. За парком Музея естественной истории величаво высилось кирпичное здание Школы естественных наук. Он с горечью оглянулся на него.

Он был совершенно уверен, что провалился на последнем экзамене. Теперь карьера ученого навсегда стала ему недоступна, подумал он и вспомнил, как по этой самой дороге шел к зданию школы впервые в жизни, вспомнил надежды и стремления, рождавшиеся в нем тогда с каждым шагом. Мечта о непрестанном, целеустремленном труде! Чего бы мог он достичь, если бы умел быть сосредоточенным в своих стремлениях!

Именно в этом парке он вместе со Смизерсом и Парксоном, усевшись на скамью под сенью многовекового дерева, обсуждал проблемы социализма еще до того, как был прочитан его доклад...

— Да, — сказал он вслух, — да, с этим покончено. Покончено навсегда.

Наконец его Alma Mater начала скрываться за углом Музея естественной истории. Он вздохнул и обратил свои думы к душным комнаткам в Челси и ко все еще не покоренному миру.

## 27. Рассказ о ссоре

Ссора, о которой мы намерены рассказать, случилась в конце сентября. К этому времени от романтики не осталось почти и следа, ибо Люишемы были уже женаты целых шесть месяцев. Состояние их финансовых дел перестало быть бедственным, но оставалось довольно жалким. Люишем отыскал себе работу. Одному армейскому репетитору, капитану Вигорсу, понадобился энергичный человек для занятий с отстающими по математике, и для преподавания геометрии, которую он называл «Сандхерстовской наукой». Платил он не менее двух шиллингов в час, но зато использовал время Люишема по своему усмотрению. Кроме того, в Уолэм-Грин открылся класс арифметики, где Люишему была предоставлена возможность проявить свое педагогическое мастерство. Тем самым можно было рассчитывать на пятьдесят или более шиллингов в неделю — на «более», впрочем, приходилось пока только уповать. Теперь нужно было лишь перебиться до первой выплаты денег Вигорсом. А тем временем блузки Этель утратили свою свежесть, и Люишему пришлось воздержаться от починки ботинок, у которых лопнул носок.

Начало их ссоры было довольно банальным. Но затем они перешли к обобщениям. Люишем с утра пребывал в дурном настроении после небольшой стычки накануне; кроме того, одно маловажное событие, казалось бы, ничего общего не имеющее с происшедшей ссорой, придавало ей тем не менее горячность, никак не соответствующую существу разногласия. Когда Люишем утром появился из-за створчатых дверей, он увидел на столе, кое-как накрытом к завтраку, какое-то письмо, а Этель, показалось ему, чересчур уж поспешно отпрянула от стола. Письмо упало. Их глаза встретились, и она вспыхнула. Он сел и поднял письмо, сделав это, возможно, несколько неуклюже. Письмо было от мисс Хейдингер. Сначала он хотел было положить его в карман, но потом решил сию же минуту распечатать. Оно оказалось не из коротких, и он принялся читать. В общем-то, решил он, это было довольно скучное письмо, но он ничем не обнаружил этого. Когда письмо было прочитано, он аккуратно сложил его и спрятал в карман.

Формально это не имело никакого отношения к ссоре. Ссора началась, уже когда они кончили завтракать. У Люишема было свободное утро, и он намеревался использовать его для просмотра записей по «Сандхерстовской науке». К несчастью, в поисках тетради он натолкнулся на пачку

обожаемых Этель романов.

— Повсюду валяются твои книги! — вспыхнул он, отбросив их в сторону. — Хотя иногда приводи их в порядок.

— Они и были в порядке, пока ты их не раскидал, — возразила Этель.

— Не книги, а мерзость! Годятся лишь на растопку, — воскликнул Люишем и сердцах и злобно пнул ногой один из романов так, что он отлетел в угол.

— Ты, кажется, тоже пробовал написать такую, — заметила Этель, имея в виду грандиозную кипу писчей бумаги, которая появилась в доме в те страшные дни, когда Люишем совсем отчаялся найти работу. Это воспоминание всегда его сердило.

— Ну и что? — резко спросил он.

— Ты сам пробовал написать такую, — повторила чуть нехотя Этель.

— Боишься, как бы я не забыл об этом?

— Ты сам напоминаешь.

Некоторое время он враждебно смотрел на нее.

— От этих книг в доме один мусор, не отыскать и чистого уголка. Всюду беспорядок.

— Ты всегда так говоришь.

— А разве у тебя есть где-нибудь порядок?

— Да, есть.

— Где?

Этель сделала вид, что не слышит. Но дьявол уже завладел Люишем.

— Мне кажется, ты не слишком обременена делами, — заметил он, решаясь на запрещенный прием.

Этель резко обернулась.

— Если я их убираю, — сказала она, сделав особое ударение на слове «убираю», — ты говоришь, что я их прячу. К чему же стараться угождать тебе?

Дух упрямства заговорил в Люишеме.

— По-видимому, не к чему.

Щеки Этель пылали, а в глазах, сверкая, стояли слезы. Внезапно она решила сама перейти в атаку и выпалила то, что так долго оставалось невысказанным между ними. Голос ее зазвучал нотками гнева.

— С тех пор, как у тебя завелась переписка с этой мисс Хейдингер, все, что бы я ни делала, тебе не нравится.

Наступило длительное молчание. Оба словно онемели. До сих пор считалось, что она не знает о мисс Хейдингер. Он прозрел.

— Откуда ты знаешь?.. — начал было он, но вовремя спохватился и, приняв как можно более естественный вид, с отвращением произнес: — Фу! — А потом воскликнул: — Глупости ты говоришь! Придумать же такое! — с гневным упреком выкрикнул он. — Как будто ты когда-либо пыталась угодить мне! Как будто не было все наоборот!

Он замолчал, осознав несправедливость своих слов. И снова вернулся к тому, что хотел было сначала обойти.

— Откуда ты знаешь, что мисс Хейдингер...

— Я не должна была этого знать, да? — со слезами в голосе опросила Этель.

— Но откуда?

— Ты, наверное, думаешь, меня это не касается? Ты, наверное, думаешь, я из камня?

— Ты хочешь сказать... ты думаешь...

— Да, именно.

Несколько мгновений Люишем молчал, озадаченный этим новым поворотом событий. Он мучительно подыскивал какой-нибудь сокрушительный довод, какой-нибудь способ убедительно опровергнуть, перечеркнуть, закрыть это открытие. Но на ум ничего не приходило. Он попал в тупик. Волна неразумного гнева охватила его.

— Ревность! — закричал он. — Ревность! Как будто... Разве я не имею права получать письма о том, чего ты не знаешь, не желаешь знать? Да если бы я попросил тебя их прочитать, ты бы отказалась... И вот из-за этого...

— Ты никогда не давал мне возможности узнать.

— Не давал?

— Нет!

— Вот как? Да я этим только и занимался. Социализм, религия и все эти вопросы... Но ты и слышать не желала — тебе дела нет. Тебе бы хотелось, чтобы и я об этом не думал, чтобы и мне не было до всего этого никакого дела. И спорить с тобой было бесполезно. Ты любишь меня только с какой-то одной стороны, но то, что меня действительно интересует, тебя не касается! И только из-за того, что у меня есть друг...

— Друг?

— Да, друг!

— Зачем же ты прячешь ее письма?

— Потому что, говорю я тебе, ты все равно не поймешь, о чем она пишет. Хватит спорить. Хватит. Ты ревнуешь, вот и все.

— А кто не стал бы ревновать?

Он посмотрел на нее так, будто не понял вопроса. Рассуждать на эту

тему было трудно, непреодолимо трудно. Он оглядел комнату, желая переменить разговор. На столе, напоминая ему о потраченном даром времени, лежала тетрадь, которую он разыскал среди ее романов. Гнев снова овладел им, и он опять вернулся к началу их ссоры.

— Так продолжаться не может! — яростно размахивая руками, выкрикнул он. — Так продолжаться не может! Разве я в состоянии здесь работать? Разве я в состоянии здесь что-нибудь делать?

Он сделал три шага и остановился там, где было побольше простора.

— Я этого не потерплю! Я не намерен этого терпеть! Ссоры, придирки, неприятности! Нынче утром я хотел работать. Хотел просмотреть старые записи. А ты затеяла ссору...

Подобная несправедливость заставила Этель тоже перейти на крик.

— Ссору затеяла не я...

В ответ на это можно было только завопить. И Люишем не преминул это сделать.

— Ты затеяла ссору! — орал он. — Подняла крик! Спорить!.. Ревновать меня! Подумать только! Ну разве я в состоянии здесь что-нибудь делать? Разве можно жить в таком доме? Я уйду. Слышишь, я уйду! Пойду в Кенсингтон и буду там работать.

Тут слова его иссякли, а Этель, как видно, только собиралась с силами. Он воинственно огляделся в поисках последнего аргумента. Действовать следовало немедленно. На столике лежал толстый том «Позвоночных» Хаксли. Он схватил его, размахнулся и с силой запустил в пустой камин.

Мгновение, казалось, будто он ищет, что бы еще швырнуть. На комод он заметил свою шляпу и, схватив ее, с трагическим видом зашагал к выходу.

У двери он минутку помедлил, потом распахнул ее и яростно захлопнул за собой. Оповестив таким образом весь мир о справедливости своего гнева, он с достоинством вышел на улицу.

Он шел, сам не ведая куда, по улицам, заполненным спешившим на работу деловым людом, пока наконец по привычке ноги его сами собой не свернули на Бромтон-роуд. Утреннее движение в сторону Ист-Энда увлекло туда и его. Некоторое время, несмотря на шевелившееся где-то в уголке разума удивление, гнев не оставлял его, не давал ему остыть. — Зачем он женился на ней? — не переставая, спрашивал он себя. Для какого черта он женился на ней? Но как бы то ни было, решительное слово сказано. Он этого не потерпит! Этому должен наступить конец. Положение просто невыносимо, и ему следует положить конец. Он придумывал уничтожающие слова, которые должен ей сказать в подтверждение своей



решимости. Придется быть жестоким. Только так он сумеет внушить ей, что больше не потерпит ничего подобного. Чего именно он не потерпит, об этом он упорно не думал.

Как же так вышло, что он женился на ней? Окружающая обстановка была как нельзя более под стать его мыслям. Огромные, словно надутые от важности чугунные галереи Музея искусств (вот уж неподходящее помещение!) и усеченная башня часовни, стоящая боком к улице, казалось, тоже негодовали на судьбу. Как же так? После столь удачного начала!

Задумавшись, он прошел мимо ворот музея. Спohватившись, он вернулся, прошел через турникет, вошел в музей и, пройдя под галереей старинного литья, направился в Педагогическую библиотеку. Ряды свободных столов, полки книг — все это сулило убежище...

Таково было настроение Люишема утром. Но еще задолго до полудня весь гнев его остыл вместе со страстной уверенностью в никчемности Этель. Лицо его, выглядывавшее из-за груды книг по геологии, было унылым. Он вспоминал, как вел себя во время ссоры: шумел, кричал, был несправедлив. И из-за чего, собственно, все это вышло?

В два часа он отправился к Вигорсу, испытывая по дороге острые угрызения совести. Каким образом так изменилось его настроение, словами передать трудно, ибо мысли более неуловимы, нежели слова, а чувства несравненно более тонки. Но одна вещь по крайней мере не вызывает сомнений: в душе Люишема проснулось воспоминание.

Явилось оно откуда-то сверху, проникнув сквозь стеклянную крышу библиотеки. Сначала он даже не сообразил, что это — воспоминание, просто что-то мешало ему сосредоточиться. Он ударил ладонью по страницам лежавшей перед ним книги.

— Черт бы побрал эту проклятую шарманку! — прошептал он.

И раздраженно закрыл уши руками.

Затем он отбросил книги, встал и принялся ходить по залу. Музыка неожиданно оборвалась на полутакте, и отзвук ее замер в тишине.

Люишем, стоявший в нише окна, судорожно захлопнул книгу, которую держал в руках, и возвратился на место.

Он поймал себя на том, что, напевая какую-то грустную мелодию, опять думает о ссоре, о которой позабыл, казалось, навсегда. Из-за чего все это произошло? У него появилось странное ощущение, будто какая-то мысль, вырвавшись на свободу, не дает ему сосредоточиться. И словно в ответ возникло удивительно яркое видение Хортли. Плыла луна, и со склона холма виден был весь городок, залитый ее светом, и звучала музыка — какая-то очень грустная мелодия. Непонятно, почему ему чудились

звуки шарманки, хотя он знал, что играет оркестр, а кроме того, были и слова, протяжные и полные, как заклинание, тайного смысла:

Страна волшебных грез! Былые дни  
Хоть на мгновенье памяти верни...

Звуки песенки не только нарисовали перед ним всю эту картину — такую четкую и ясную, — они принесли с собой огромное облако необъяснимого волнения, чувства, которое еще минуту назад, казалось невозвратно ушедшим из его жизни.

И он вспомнил! Он спускался с этого холма, и рядом была Этель...

Неужели он когда-то испытывал к ней подобные чувства?

— Проклятие! — буркнул он и вернулся к своим книгам.

Но мелодия и воспоминание окончательно завладели им, они не покидали его и за скудным завтраком из молока и ячменной лепешки — он еще с утра решил, что не пойдет домой обедать, — и по дороге к Вигорсу. Возможно, столь необильный завтрак сам по себе придает мыслям смягченный оборот. Теперь у него уже не было уверенности в своей правоте; он испытывал чувство бесконечной растерянности.

«Но в таком случае, — спрашивал он себя, — как же мы, черт побери, дошли до этого?»

Таков, как известно, коренной вопрос семейной жизни.

Утреннее бешенство уступило место почти олимпийскому спокойствию. Он мужественно взялся за решение коренного вопроса. Они поссорились — от этого никуда не уйдешь. И это не в первый раз за последнее время. Ссорились всерьез: стояли друг против друга, нанося чувствительные удары, выбирая самое уязвимое место. Он пытался восстановить в памяти, как все это было, припомнить, что сказал он, что ответила она. И не в силах был этого сделать. Он забыл, что и в связи с чем было сказано, забыл, как все это произошло. В памяти у него сохранились только отдельные фразы, резкие, окончательные, как высеченная на камне надпись. А из всей сцены перед ним стояла лишь одна картина: Этель с пылающим лицом и глазами, в которых сверкали слезы.

На перекрестке он на время отвлекся от своих мыслей. Но на противоположной стороне им снова завладели думы о том, как разительно изменились их отношения. Он сделал еще одну попытку свалить всю вину на нее, доказать, что причина всех бедствий — она одна. Она затеяла с ним ссору, и притом умышленно, потому что вздумала ревновать. Она ревнует

его к мисс Хейдингер, потому что глупа. Но теперь эти обвинения улетучивались, как дымок, одно за другим. А видение прошлого с двумя залитыми лунным светом фигурками не таяло. На узкой кенсингтонской Хай-стрит он отказался от своих обвинений. А миновав Таун-холл, пришел к совершенно новой мысли. Быть может, он сам в какой-то степени виноват?

И понял, что сознание этого не оставляло его все время.

Дальше все происходило очень быстро. Через каких-нибудь сто шагов внутренняя борьба в его душе завершилась, и он с головой окунулся в синюю пучину раскаяния. И все то неприятное и оскорбительное, что произошло, все злобное, что он наговорил, теперь уже казалось ему не высеченным на камне, а начертанным огненными буквами обвинением. Он пытался убедить себя, что не говорил такого, что это память сыграла с ним злую шутку, или, возможно, и говорил, но не так уж грубо. Точно так же не в силах он был и заглушить собственную боль. Только яснее открылась ему вся глубина, его падения.

Теперь все воскресло у него в памяти. Он видел Этель на залитой солнцем аллее, видел ее бледную в лунном свете в минуту их прощания перед домом Фробишеров, видел, как она появляется из подъезда дома Лэгьюна, чтобы пойти вместе с ним гулять, видел ее после свадьбы, когда она, трепетная, сияющая в ореоле его восхищения, выходит навстречу ему из двухстворчатой двери. И наконец, видел Этель разгневанную, растрепанную и заплаканную в плохо освещенной, неприбранной комнатке. А в ушах у него, не переставая, звучала грустная шарманка. До чего он дошел! Как могло случиться, что вслед за такой радужной зарей наступил унылый, пасмурный день? Что ушло? Ведь это они так радостно шагали в его воспоминаниях, и вот теперь в последние злополучные недели они же так мучают друг друга!

Люишем едва не стонал от досады. Теперь он осуждал и ее и себя. «Что мы наделали! — твердил он. — Что мы натворили!»

Теперь он знал, что такое любовь, знал, что она сильнее рассудка и властвует над ним. Теперь он знал, что любит ее, и его недавний гнев, его враждебность, недовольство — все это казалось ему каким-то чуждым чувством, занесенным в его душу извне. Он с болью и сожалением вспоминал, как после первых дней взаимных восторгов стала угасать нежность, как он становился все суше с нею, как появились первые признаки раздражительности, как он работал по вечерам, упорно не желая замечать ее присутствия. «Нельзя все время думать только о любви», — говорил он, и они все больше и больше отдалялись друг от друга. Как часто

в мелочах он был несдержан, как часто был несправедлив! Он причинял ей боль своей резкостью, насмешками и прежде всего нелепой таинственностью, которой он окружал письма от мисс Хейдингер. Чего ради он скрывал от нее эти письма? Как будто в них было что скрывать! Что там надо было скрывать? Что в этих письмах могло бы ей не понравиться? А между тем все эти мелочи и привели к тому, что их любовь, словно оскверненная грубыми руками драгоценность, поцарапана, побита, потускнела, ей угрожает окончательная гибель. Этель тоже к нему изменилась. Пропась разверзлась между ними, пропасть, которую он, возможно, никогда не сумеет преодолеть.

— Нет, этого не будет! — воскликнул он. — Не будет!

Но как вернуть былое? Как вычеркнуть сказанное, как стереть в памяти сделанное?

Можно ли вернуть прошлое?

Он попробовал представить себе другой исход. Что если они не сумеют вернуть прошлое? Что если зло непоправимо? Что если дверь, которую он захлопнул за собой, затворилась навсегда?

— Но это невозможно! — решил Люишем. — Этого нельзя допустить.

Он чувствовал, что извинения и рассуждения здесь не помогут. Нужно начать все сначала, нужно вернуться к чувствам, нужно стряхнуть с себя гнет повседневных забот и тревог, которые лишают их жизнь тепла и света. Но как это сделать? Как?

Он должен снова завоевать ее любовь. Но с чего начать? Как выразить ей эту перемену? Ведь и прежде у них бывали примирения, спрятанные обиды и взаимные уступки. Сейчас все должно быть по-другому. Что бы такое ей сказать, как к ней подойти? Но все, что приходило на ум, звучало либо холодно и бездушно, либо жалобно и недостойно, либо же наигранно и глупо. Что если дверь затворилась навсегда? Вдруг уже поздно? Со всех сторон подступали неприятные воспоминания. Он внезапно сообразил, что, наверное, очень изменился в глазах Этель, и эта мысль была нестерпимо мучительной. Ибо теперь он был уверен, что всем сердцем любит Этель.

И вдруг он увидел витрину цветочного магазина, в середине которой красовался великолепный букет роз.

Они попались ему на глаза, когда он проходил мимо. Перед ним были белые, девственные розы, чайные, розовые и алые розы, розы цвета живой плоти и цвета прохладного жемчуга, целое облако благоухающих красок, зримых ароматов, и в середине одно темно-красное пятно. То был как бы цвет его чувств. Он остановился. Вернувшись к витрине, он смотрел и смотрел, не отрывая глаз. Букет был великолепный — он это видел, но

почему он так привлекает его внимание?

И тогда он понял, словно это было ясно само собой: да, именно это ему нужно. Именно это он и должен сделать. Вот оно, то новое, чем будет ознаменована перемена в их жизни, — между прочим, еще и потому, что так будет поправлен проклятый идол мелочной бережливости, заставлявший их отказывать себе во всем и угнетавший их день ото дня. Розы явятся ей как чистая неожиданность, они вспыхнут вокруг нее новым огнем.

А вслед за розами вернется он.

Серый туман его души рассеялся; перед ним вновь, блистая игрой красок, предстал мир. Он вообразил всю картину с ясной отчетливостью, увидел Этель не рассерженной и плачущей, а радостной, как прежде. Сердце у него учащенно забилося. Ему нужно было принести ей дар, и он его принесет.

Неуместное благоразумие сделало попытку вмешаться, но тотчас замолкло. У него в кармане — он знал — лежит конверт. Он вошел в магазин.

Перед ним предстала важная молодая леди в черном, и он растерялся. Ему еще никогда не доводилось покупать цветов. Он огляделся, ища подходящие слова.

— Мне нужны эти розы, — указав на букет, проговорил он.

Когда он вышел из магазина, в кармане у него осталось лишь несколько мелких серебряных монет. Розы, соответствующим образом упакованные, должны были быть доставлены Этель, согласно его настоятельному предписанию, ровно в шесть часов.

— В шесть, — внушительно повторил Люишем.

— Не беспокойтесь, — ответила молодая леди в черном и сделала вид, будто не в силах скрыть улыбку. — Мы, право же, довольно часто доставляем цветы на дом.

## 28. Появление роз

Но розы не были доставлены!

Когда Люишем вернулся от Вигорса, было уже около семи. Он вошел в дом — сердце его билось учащенно. Он ждал, что Этель встретит его взволнованная, а розы будут стоять на самом видном месте. Но ее лицо по-прежнему было бледным и осунувшимся. Это его так поразило, что слова приветства замерли у него на губах. Его обманули! Он вошел в гостиную, роз не было. Этель прошла в комнату и стала к нему спиной, глядя в окно. Он дольше не мог оставаться в неведении... Он был обязан спросить, хотя ответ знал наперед.

— Ничего не приносили?

Этель взглянула на него.

— А что, по-твоему, могли принести?

— Так, ничего.

Она снова принялась смотреть в окно.

— Нет, — медленно сказала она, — ничего не приносили.

Он силился найти слова, которые могли бы облегчить примирение, но ничего не мог придумать. Придется подождать, пока принесут розы. Чтобы как-нибудь убить время до ужина, он вытащил свои книги; за ужином, который прошел холодно и церемонно, они обменивались лишь необходимыми свехвежливыми замечаниями. Разочарование и досада вновь овладели Люишем. Он злился на весь мир — даже на нее; он видел: она все еще считает, что он сердится, — и за это он сердился на нее. Он опять взялся за книги, а она помогала служанке мадам Гэдоу убрать со стола, когда послышался стук у входной двери. «Наконец-то принесли», — сказал он себе с радостным облегчением и встал, не зная, уйти ли ему или остаться свидетелем того, как она примет подарок. Служанка сейчас была явно некстати. Но тут он услышал голос Чэффери и тихо выругался про себя.

Теперь, если принесут розы, придется проскользнуть в коридор, перехватить их и отнести в спальню через дверь из коридора. Совсем ни к чему Чэффери их видеть. Он способен метнуть такую стрелу насмешки, которая на всю жизнь вонзится в память.

Люишем старался дать гостю понять, что не очень рад его визиту. Но Чэффери находился в таком благодушном настроении, что его пыл не могли охладить никакие холодные приемы. Не ожидая приглашения, он

бесцеремонно уселся в то кресло, которое ему больше других пришлось по вкусу.

Люишемы и раньше всячески скрывали от мистера и миссис Чевфери свои семейные нелады, поэтому и нынче, ничего не подозревая о ссоре, Чевфери принялся без умолку болтать. Он вынул две сигары.

— Нашла на меня такая фантазия, — сказал он. — Пусть, думаю, на сей раз честный человек выкурит добрую сигару или, если хотите, наоборот: добрый человек — честную сигару. Берите одну. Нет? Уж эти ваши строгие правила. Ну что ж, мне же лучше. Но, право, мне было бы так же приятно, если бы ее выкурили вы. Ибо нынче меня просто одолевает щедрость.

Он осторожно срезал кончик сигары, церемонно зажег ее, подождав, пока обгорит на спичке фосфор, и целую минуту молчал, выпуская огромные клубы дыма. А затем заговорил снова, сопровождая свои слова разнообразными и красивыми кольцами дыма.

— До сих пор, — сказал он, — я плутовал лишь по пустякам.

Поскольку Люишем ничего не ответил, он, помолчав, продолжил свою мысль:

— На свете существуют три категории мужчин, мой мальчик, только три, женщин же — всего одна категория. Есть мужчины счастливые, есть плуты и есть глупцы. Гибридные типы я в расчет не беру. Что же касается плутов и глупцов, то они, по-моему, очень похожи друг на друга.

Он опять умолк.

— Наверное, похожи, — безучастно отозвался Люишем и хмуро уставился в камин.

Чевфери внимательно его разглядывал.

— Я проповедую. Нынче вечером я проповедую особую мудрость. Оглашаю мои давние и заветные мысли, потому что, как вы вскоре сможете убедиться, у меня сегодня особенный день. А вы слушаете меня невнимательно.

Люишем поднял глаза.

— День рождения? — спросил он.

— Узнаете потом. Я говорил о моих тончайших наблюдениях над плутами и глупцами. Я давно убедился в абсолютной необходимости праведной жизни, если человек хочет быть счастливым. Для меня это такая же истина, как то, что в небе есть солнце. Вас это удивляет?

— Видите ли, это не совсем совпадает...

— Да. Я знаю. Я объясню все. Разрешите мне сначала поведать вам о счастливой жизни. Слушайте же меня, как если бы я лежал на смертном

одре и это был бы мой прощальный завет. Прежде всего честность ума. Исследуйте явление и крепко стойте на том, что вы считаете справедливым. Не позволяйте жизни увлекать вас иллюзиями и чудесами. Природа полна жестоких катастроф, человек — это физически выродившаяся обезьяна, каждое вожделение, каждый инстинкт нуждаются в обуздании; спасение, если только оно вообще бывает, не в природе вещей, а в природе человека. Этой неприятной истине вы должны смотреть в глаза. Надеюсь, вы следите за моей мыслью?

— Продолжайте, — отозвался Люишем, забывая о розах из студенческой любви к спорам.

— В юности — учение и жажда знаний, на заре юности — честолюбие, в начале зрелости — любовь, а не театральная страсть.

Чеффери произнес это особенно торжественно и отчетливо, многозначительно подняв вверх худой, длинный палец.

— Затем брак, когда люди еще молоды и скромны, потом дети и упорная честная работа ради них, а заодно и на благо государства, в котором они живут; жизнь, полная самопожертвования, а на закате — законная гордость. Вот что такое счастливая жизнь. Можете мне поверить, именно это и есть счастливая жизнь, правильная форма жизни, выработанная для человека естественным отбором за все время существования человечества на земле. Так человек может прожить счастливо от колыбели до могилы, по крайней мере относительно счастливо. А для этого требуются всего три условия: здоровое тело, здоровый дух и здоровая воля... Здоровая воля!

Повторив заключительные слова, Чеффери на секунду умолк.

— Всякое другое счастье непрочное. И когда люди станут по-настоящему мудрыми, они все будут стремиться к такой жизни. Слава! Богатство! Искусство! Индейцы поклоняются сумасшедшим, и мы тоже в некотором роде чтим людей неполноценных. Я же утверждаю: те люди, которые не ведут этой счастливой жизни, — плуты или глупцы. Физическое уродство, знаете ли, я тоже считаю своего рода глупостью.

— Да, — подумав, согласился Люишем, — пожалуй, вы правы.

— Глупцу не везет из-за недостатка ума, он ошибается в своих расчетах, спотыкается, запинаясь, любая лицемерная или трескучая фраза может сбить его с толку; страсть он познает лишь из книг, а жену берет из публичного дома; он ссорится по пустякам, угрозы его пугают, тщеславие обольщает, он ослеплен и потому совершает промахи. Плут же, если он не дурак, терпит банкротство в лучах света. Многие плуты в то же время и глупцы, большинство, если говорить правду, но не все. Я знаю, я сам плут,



но не дурак. Несчастье плута состоит в том, что у него нет воли, отсутствует стимул к поиску собственного высшего блага. Он питает отвращение к настойчивости. Узок путь, и тесны врата; плут не может в них протиснуться, а глупец не способен их отыскать.

Последние фразы Чеффери Люишем пропустил мимо ушей, потому что внизу опять раздался стук. Он встал, но Этель его опередила. Он постарался скрыть свою тревогу и с облегчением вздохнул, когда услышал, что парадная дверь захлопнулась, а Этель прошла из коридора прямо в спальню. Тогда он снова повернулся к Чеффери.

— Приходило ли вам когда-нибудь в голову, — ни с того ни с сего спросил Чеффери, — что убеждения не могут служить причиной действий? Как железнодорожная карта не может служить причиной передвижения поезда.

— Что? — переспросил Люишем. — Карта?.. Движение, поезда? Да, конечно. То есть, разумеется, нет.

— Именно это я и хочу сказать, — продолжал Чеффери. — Вот так и обстоит дело с плутом. Мы не дураки, потому что мы все это сознаем. Но вон там идет дорога, извилистая, трудная, суровая, дорога строгого, прочного счастья. А в стороне пролегает чудесная тропинка, зеленая, мой мальчик, тенистая, как пишут поэты, но на ней среди цветов сокрыта западня...

В двухстворчатую дверь прошла, возвращаясь, Этель. Она взглянула на Люишема, постояла немного, села в плетеное кресло, словно желая снова приняться за оставленное на столе шитье, но потом встала и пошла обратно в спальню.

Чеффери продолжал разглагольствовать о скоропреходящей природе страсти и всех прочих острых и сильных переживаний, но мысли Люишема были заняты судьбой букета, поэтому многое из того, что говорил Чеффери, он пропустил мимо ушей. Почему Этель вернулась в спальню? Возможно ли, что... Наконец она снова вошла в гостиную, но села так, что ему не было видно ее лица.

— Если можно что-либо противопоставить такой счастливой жизни, то только жизнь искателя приключений, — говорил Чеффери. — Но всякий искатель приключений должен молить у бога ранней смерти, ибо приключения приносят с собой раны, раны приводят к болезням, а болезни — в жизни, а не в романах — губят нервную систему. Нервы не выдерживают. И что же тогда, по-вашему, мой мальчик?

— Шшш! Что это? — спросил Люишем.

С улицы опять стучали. Не обращая внимания на поток премудростей,

Люишем выбежал и, отворив дверь, впустил одного джентльмена, приятеля мадам Гэдоу, который, пройдя по коридору, направился вниз по лестнице. Когда Люишем вернулся в комнату, Чеффери уже собрался уходить.

— Я мог бы еще поговорить с вами, — сказал он, — но вы, я вижу, чем-то озабочены. Не стану докучать вам догадками. Когда-нибудь вы вспомните...

Он не договорил и положил руку на плечо Люишема.

Можно было подумать, что он чем-то обижен.

В другое время Люишем постарался бы его умиловить, но на сей раз даже не стал извиняться. Чеффери повернулся к Этель и минуту с любопытством смотрел на нее.

— Прощай, — сказал он, протянув ей руку.

На пороге Чеффери тем же любопытствующим взглядом окинул Люишема и, казалось, хотел было что-то сказать, но только проговорил: «Прощайте». Что-то в его поведении было такое, отчего Люишем задержался у дверей, глядя вслед исчезающей фигуре своего тестя. Но тотчас мысль о розах заставила его забыть обо всем остальном.

Когда он возвратился в гостиную, Этель сидела перед своей машинкой, бесцельно перебирая клавиши. Она сразу же встала и пересела в кресло, держа в руках роман. Книга закрывала ей лицо. Он вопросительно смотрел на нее. Значит, розы так и не принесли? Он был ужасно разочарован и страшно зол на молодую продавщицу из цветочного магазина. Он взглянул на часы раз, потом другой, взял книгу и сделал вид, будто читает, но мысленно придумывал едкую возмущенную речь, которую он завтра произнесет в цветочном магазине. Он отложил книгу, взял свой черный портфель, машинально открыл его и снова закрыл. Затем украдкой взглянул на Этель и увидел, что она украдкой тоже поглядывает на него. Выражение ее лица было ему не совсем понятно.

Он направился в спальню и замер на пороге, как пойнтер на стойке.

В комнате пахло розами. Аромат был так силен, что Люишем даже выглянул за дверь в надежде найти там коробку, таинственно доставленную к их порогу. Но в коридоре розами не пахло.

Вдруг он увидел: что-то загадочно белеет на полу у его ноги. И, наклонившись, поднял кремовый лепесток розы. С минуту он стоял с лепестком в руке, пораженный. Он заметил, что край скатерки на туалетном столике отвернут, и мгновенно сопоставил это обстоятельство с найденным лепестком.

В два шага он был возле столика, поднял скатерть — и что же? Там лежали его розы, изломанные, помятые!

У него захватило дыхание, как у человека, который нырнул в холодную воду. Он так и застыл, склонившись, держа в руке край скатерки.

В полуотворенной двери появилась Этель; Выражение ее бледного лица было каким-то новым. Он посмотрел ей прямо в глаза.

— Скажи на милость, для чего ты засунула сюда мои розы? — спросил он.

Она, в свою очередь, уставилась на него. На лице ее выразилось точно такое же изумление.

— Зачем ты засунула сюда мои розы? — повторил он.

— Твои розы! — воскликнула она. — Как? Значит, это ты их прислал?

## 29. Шипы и розы

Он так и остался стоять, согнувшись, не сводя с нее глаз и медленно уясняя смысл ее слов.

И вдруг он понял.

При первом же проблеске понимания на его лице она в испуге вскрикнула, опустилась на маленький пуф и, повернувшись к нему, попробовала заговорить.

— Я... — начала она и остановилась, в отчаянии махнув рукой: — О!

Ой выпрямился и стоял, глядя на нее. Опрокинутая корзина с розами валялась между ними.

— Ты решила, что их прислал кто-то другой? — спросил он, стараясь освоиться с перевернутой вселенной.

Она отвела взгляд.

— Я не знала, — выдохнула она. — Ловушка... Могла ли я догадаться, что их прислал ты?

— Ты думала, что их прислал кто-то другой, — сказал он.

— Да, — ответила она, — я так подумала.

— Кто?

— Мистер Бейнс.

— Этот мальчишка!

— Да, этот мальчишка.

— Ну, знаешь ли...

Люишем огляделся, стараясь постичь непостижимое.

— Ты хочешь сказать, что любезничала с этим юнцом за моей спиной? — спросил он.

Она открыла рот, чтобы ответить, но не нашла слов.

Бледность стерла последние следы краски с его лица. Он засмеялся, потом стиснул зубы. Муж и жена смотрели друг на друга.

— Вот уж никогда не думал, — проговорил он совершенно ровным тоном.

Он сел на кровать и с каким-то злобным довольством придавил ногами лежавшие на полу розы.

— Вот уж не думал, — повторил он и пнул ногой легкую корзинку, которая, возмущенно подпрыгивая, вылетела сквозь створчатые двери в гостиную, оставив за собой след из кроваво-красных лепестков.

Минуты две они сидели молча, а когда он снова заговорил, голос его

звучал хрипло. Он повторил фразу, которую произнес во время утренней ссоры.

— Вот что, — начал он и откашлялся, — ты, быть может, думаешь, что я намерен терпеть, но я этого не потерплю.

Он взглянул на нее. Она сидела, глядя прямо перед собой, не делая попытки оправдаться.

— Когда я говорю, что не потерплю, — объяснил Люишем, — это не значит, что я намерен устраивать скандалы и сцены. Ссориться, сердиться можно за другое... и тем не менее жить вместе. Это же совершенно иное. Вот они мечты, иллюзии!.. Подумать, сколько я потерял из-за этой проклятой женитьбы. А теперь еще... Ты не понимаешь, ты никогда не поймешь.

— И ты не понимаешь! — проговорила Этель, плача, но не глядя на него и не поднимая рук, беспомощно лежавших на коленях. — Ты ничего не понимаешь.

— Начинаю понимать.

Он помолчал, собираясь с силами.

— За один гол, — сказал он, — все мои надежды, все мои замыслы пошли прахом. Я знаю, я был зол, раздражителен, я это знаю. Я разрывался надвое. Но... Эти розы купил тебе я.

Она посмотрела на розы, потом на его белое лицо, чуть качнулась в его сторону и снова застыла в неподвижности.

— Я думаю об одном. Я давно понял, что ты человек пустой, что ты не способна мыслить, не способна чувствовать так, как мыслю и чувствую я. Я старался примириться с этим. Но я думал, что ты мне верна...

— Я верна! — вскричала она.

— И ты полагаешь... Ты сунула мои розы под стол!

И снова злое молчание. Этель зашевелилась, он повернулся к ней, желая посмотреть, что она намерена делать. Она достала носовой платок и принялась тереть им сухие глаза, сначала один глаз, потом другой. Затем она начала всхлипывать.

— Я... верна... во всяком случае, так же, как ты, — сказала она.

Люишем был возмущен. Но потом решил не обращать внимания на ее слова.

— Я бы стерпел это... Я бы стерпел все, если бы ты была мне верна, если бы я мог быть уверен в твоей преданности. Я глупец, я знаю, но я бы примирился с тем, что мне пришлось бросить свою работу, отказаться от надежды на карьеру, если бы только я был уверен в тебе. Я... Я очень любил тебя.

Он замолчал, заметив, что впадает в жалостливый тон. И поспешил защититься гневом.

— А ты обманывала меня! Как давно, насколько — это не имеет значения. Ты меня обманывала. Говорю тебе, — он начал жестикулировать, — что я еще не настолько твой раб и не настолько глупец, чтобы стерпеть и это! Уж таким-то глупцом не сделает меня ни одна женщина. Что касается меня, то все кончено. Все кончено. Мы женаты, но это не имеет значения, будь мы хоть пятьсот раз женаты. Я не останусь с женщиной, которая принимает цветы от другого мужчины...

— Я не принимала, — сказала Этель.

Люишем дал волю ярости. Схватив пучок роз, он, дрожа, протянул их ей.

— А это что? — выкрикнул он.

Он поцарапался в кровь шипом розы, как поцарапался когда-то, срывая ветку терна с черным шипом.

— Я их не принимала, — сказала Этель. — Я не виновата, что их прислали.

— Тьфу! — рассердился Люишем. — Но что толку спорить и отрицать? Ты их приняла, они у тебя. Ты хотела схитрить, но выдала себя. И нашей жизни и этому, — он указал на мебель мадам Гэдоу, — всему пришел конец. — Он взглянул на нее и с горьким удовлетворением повторил: — Конец.

Она посмотрела ему в лицо, но он был непоколебим.

— Я не хочу больше жить с тобой, — пояснил он, чтобы не оставалось сомнений. — Наша совместная жизнь кончена.

Она перевела взгляд с его лица на разбросанные розы. И продолжала смотреть на них. Она больше не плакала, лицо ее было мертвенно-белым, красными оставались только веки.

Он выразил свою мысль иначе:

— Я ухожу. И зачем мы только поженились? — размышлял он. — Но... Уж этого я никак не ожидал!

— Я не знала, — выкрикнула она с неожиданной силой в голосе. — Я не знала. Что мне было делать? О!

Она замолчала и, стиснув руки, посмотрела на него страдальческим, отчаянным взглядом.

Люишем оставался неумолимо враждебным.

— Меня это не интересует, — заявил он в ответ на ее немую мольбу. — Этим все решено. Вот этим! — Он указал на разбросанные цветы. — Не все ли мне равно, случилось ли что-нибудь или не случилось?

Как бы там ни было... Я не сержусь. Я рад. Понимаешь? Этим все решено.

Чем скорее мы расстанемся, тем лучше. В этой спальне я больше не проведу ни одной ночи. Сейчас я отнесу мой сундук и чемодан в гостиную и буду укладываться. Нынче я буду спать в кресле или сидеть и думать. А завтра рассчитаюсь с мадам Гэдоу и уйду. Ты же можешь вернуться... к своему шарлатанству.

Он помолчал несколько секунд. Она была мертвенно-неподвижна.

— Ты добила того, чего хотела. Ты ведь хотела вернуться, когда у меня не было работы. Помнишь? Твое место у Лэгьюна до сих пор не занято. Мне все равно. Говорю тебе, мне все равно. Не в этом дело. Иди своей дорогой, а я пойду своей. Понимаешь? А вся эта гадость, все притворство, когда живут вместе и не любят друг друга — я тебя больше не люблю, так и знай, поэтому можешь больше не думать... — все это кончится раз и навсегда. Что же касается нашего брака, то его я не ставлю ни во что, из притворства ничего, кроме притворства, не получится. Это — притворство, а притворству должен наступить конец, а значит, и конец всему.

Он решительно встал, отшвырнул подвернувшиеся ему под ноги розы и полез под кровать за чемоданом. Этель, ничего не ответив, продолжала сидеть неподвижно и следила за ним. Чемодан почему-то отказывался вылезать, и Люишем, нарушив мрачность минуты, вполголоса пробормотал:

— Поди сюда, черт бы тебя побрал!

Вытащив чемодан, он швырнул его в гостиную и вернулся за желтым ящиком. Он решил укладываться в гостиной.

Когда он вынес из спальни все свои пожитки, он с решительным видом задвинул за собой створчатые двери. По донесшимся до него звукам он понял, что она бросилась на кровать, и это наполнило его душу злобным удовлетворением.

Он постоял, прислушиваясь, а затем принялся методически укладывать вещи. Первый взрыв ярости, порожденный внезапным открытием, прошел, теперь он отчетливо представлял себе, что подвергает Этель тяжкому наказанию, и эта мысль доставляла ему удовольствие. Приятно было и само сознание, что такой неожиданный поворот событий положил конец всем этим мучительным недомолвкам и взаимным обидам. Но молчание по другую сторону створчатых дверей тревожило, и он, чтобы красноречивее выразить свою решимость, нарочно старался шуметь, стучал книгами и вытряхивал одежду.

Было около девяти. В одиннадцать он все еще продолжал

укладываться.

Темнота застигла его врасплох. У расчетливой мадам Гэдоу была привычка ровно в одиннадцать выключать газ; отступала она от этого правила лишь в те вечера, когда у нее бывали гости.

Он полез в карман за спичками, но спичек там не оказалось. Он шепотом выругался. Для таких случаев у него была припасена керосиновая лампа, а в спальне хранились свечи. У Этель горела свеча: между створчатыми дверями появилась полоса ярко-желтого света. Он стал пробираться к камину и, осторожно нащупывая дорогу между некогда забавлявших его красот мебелировки мадам Гэдоу, пребольно стукнулся боком о какое-то кресло.

На камине спичек не выло. Направляясь к комоду, он чуть не упал, споткнувшись о свой раскрытый чемодан. В немой ярости он еще раз пнул ногой корзинку из-под роз. На комодке спичек тоже не оказалось.

У Этель в спальне, конечно, есть спички, но войти туда он не может. Пожалуй, еще придется просить их у нее, потому что она имела привычку носить спички в кармане... Ничего не оставалось, как прекратить сборы. Из спальни не доносилось ни звука.

Он решил устроиться в кресле и уснуть. Он осторожно добрался до кресла и сел. С минуту он продолжал прислушиваться, потом закрыл глаза и приготовился спать.

Он начал думать о том, что будет завтра; представил себе сцену с мадам Гэдоу и поиски новой холостяцкой квартиры. В каком районе города лучше подыскать жилье? Трудности, которые предстоят ему в связи с перевозкой багажа, неприятности, которые ждут его во время поисков квартиры, выросли в его представлении до гигантских размеров. Все это его страшно злило. Интересно, укладывается ли Этель? А что она намерена делать? Он прислушался — ни звука. Как там тихо! Как там удивительно тихо! Что она делает? При этой мысли он забыл обо всех ожидающих его завтра неприятностях. Он тихонько поднялся и прислушался, но тотчас снова сердито уселся на место и попытался заглушить неуместное любопытство, припоминая все свои беды.

Ему было нелегко сосредоточиться на этом предмете, но наконец память ему подчинилась. Однако не перечень собственных обид пришел ему на ум. Его донимала нелепая мысль, что он снова вел себя несправедливо по отношению к Этель, что он опять был несдержан и зол. Он делал отчаянные попытки вновь вызвать давешний прилив ревности — все напрасно. Ее ответ, что она верна ему, во всяком случае, так же, как он ей, не выходил у него из головы. Он не мог отогнать от себя мысли о ее



дальнейшей судьбе. Что она намерена делать? Он знал, что она привыкла во всем полагаться на него. Боже милосердный! Вдруг она что-нибудь натворит?

С большим трудом ему удалось наконец сосредоточиться на мысли о Бейнсе. Он опять ощутил почву под ногами. Что бы с ней ни случилось, она это заслужила. Заслужила!

Но решительность опять отступила, им вновь овладели угрызения совести и раскаяние, которые он испытывал утром. Он ухватился за мысль о Бейнсе, как утопающий хватается за веревку, и ему стало легче. Некоторое время он размышлял о Бейнсе. Он его ни разу не видел, поэтому его воображение могло работать свободно. Возмутительным препятствием к отмщению за поруганную честь казалось ему то обстоятельство, что Бейнс — еще совсем мальчик, быть может, даже моложе его самого.

Вопрос: «Что станет с Этель?» — снова всплыл на поверхность. Он боролся с собой, заставлял себя не думать об этом. Нет! Он не будет об этом думать! Это ее забота.

Гнев его поостыл, но он чувствовал, что все равно другого пути для него уже нет. Сделанного не воротишь. «Если ты примиришься с этим, — говорил он себе, — значит, ты стерпишь все, что бы ни случилось. А есть такие вещи, которые терпеть нельзя». Он упорно цеплялся за эту мысль, однако что именно он не намерен терпеть, он сказать не мог. В глубине души он это признавал. Но уж кокетничать-то она, наверное, с ним кокетничала!.. Он сопротивлялся оживающему в нем чувству справедливости, словно самому постыдному, низменному желанию, и старался представить ее рядом с Бейнсом.

И опять решил, что надо заснуть.

Но его усталость не усыпляла, а, наоборот, будоражила. Он попробовал считать, попробовал перечислить атомные веса химических элементов, только бы не думать о ней...

Он вздрогнул и почувствовал, что замерз, сидя в неловкой позе в жестком кресле. Оказывается, он задремал. Он посмотрел на желтую щель между створчатыми дверями. Свет еще горел, но как-то мерцал при этом. Наверное, свеча уже догорает. Интересно, почему так тихо?

Почему ему вдруг стало страшно?

Он долго сидел, напряженно вытягивая во тьме шею, прислушиваясь, надеясь уловить какой-нибудь звук...

Ему пришла в голову нелепая мысль, что все свершившееся случилось давным-давно. Он ее отогнал. Отогнал он и глупое ощущение, будто произошло нечто непоправимое. Но почему вокруг так тихо?

Наконец он встал и медленно, стараясь не производить ни единого звука, начал пробираться к створчатым дверям. Приложив ухо к желтой щели, стоял, прислушиваясь.

Ничего не слышно, даже сонного дыхания.

Он заметил, что двери прикрыты неплотно, тихонько толкнул одну половинку и бесшумно ее приотворил. Ни звука. Он отворил дверь пошире и заглянул в спальню. Свеча совсем догорела, фитиль плавал в воске и коптил. Этель, полураздетая, лежала на постели и держала в руке возле самого лица розу.

Он стоял с белым, как мел, лицом, не сводя с нее глаз, боясь пошевелиться. И напряженно прислушивался. Но даже сейчас не мог различить ее дыхания.

Во всяком случае, произойти ничего не могло. Просто она спит. Нужно уйти, пока она не проснулась. Если она увидит его...

Он снова посмотрел на нее. В ее лице было что-то...

Он подошел поближе, уже не заботясь о том, чтобы его шаги были бесшумными. И наклонился над ней. Даже сейчас она, казалось, не дышала.

Он увидел, что ресницы у нее все еще мокрые, мокрой была и подушка под ее щекой. Ее бледное, заплаканное лицо потрясло его...

Ему вдруг стало невыносимо ее жаль. Он позабыл обо всем, кроме этой жалости и того, что глубоко ее обидел. В этот момент она зашевелилась и назвала его одним из тех ласковых прозвищ, которые постоянно придумывала для него.

Он забыл, что им предстояло расстаться навсегда. Он ощущал лишь огромную радость: она шевелится и говорит. Ревности как не бывало. Он упал на колени.

— Любимая, — прошептал он, — ты здорова? Я... я не слышал твоего дыхания. Я не слышал, как ты дышишь.

Она вздрогнула и проснулась.

— Я был в другой комнате, — дрожащим голосом продолжал Люишем. — Кругом было так тихо. Я испугался... Я не знал, что случилось. Любимая, Этель, любимая, ты здорова?

Она быстро села и всмотрелась в лицо Люишема.

— О, позволь мне объяснить тебе, — умоляюще сказала она. — Пожалуйста, позволь мне объяснить. Ведь это все пустяки, вздор. Ты не хочешь меня выслушать. Ты не хочешь меня выслушать. Это несправедливо, не выслушав...

Люишем обнял ее.

— Любимая, — сказал он, — я знал, что это пустяки. Я знал... Я знал...

Она говорила, всхлипывая:

— Все так просто. Мистер Бейнс... что-то в его манерах... Я знала, что он может сделать глупость... Но мне так хотелось помочь тебе. — Она остановилась. На мгновение ей, словно в блеске молнии, представился один неблагоприятный поступок, о котором не стоило и упоминать. Это была случайная встреча, «глупая» фраза, и сразу испуг, отступление. Она бы сказала об этом, если бы знала, как объяснить. Но она не знала. Она медлила. И в конце концов решила не говорить. Она продолжала: — Я решила, что розы прислал он, и я испугалась... Я испугалась.

— Любимая, — сказал Люишем, — любимая! Я был жесток. Я был несправедлив к тебе. Я понимаю. Я все понимаю. Прости меня, моя любимая, прости.

— Я так хотела чем-нибудь тебе помочь. Ведь только эти малые деньги я и могла заработать. И вдруг ты рассердился. Я думала, ты больше не любишь меня, потому что я не понимаю твою работу... И эта мисс Хейдингер... О! Это было ужасно.

— Любимая, — сказал Люишем, — для меня эта мисс Хейдингер и мизинчика твоего не стоит.

— Я знаю, что мешаю тебе. Но если ты мне поможешь — о! — я буду работать, я буду учиться. Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы понимать.

— Любимая, — шептал Люишем, — любимая!

— Да еще она...

— Любимая, — принялся он каяться, — я был негодяем. Я покончу со всем этим. Я покончу со всем этим.

Он привлек ее в свои объятия и поцеловал.

— О, я знаю, я глупая, — сказала она.

— Нет. Это я был глуп. Я был жесток, безрассуден. Весь день сегодня... Я думал об этом. Любимая! Мне ничего не надо, кроме тебя. Если ты будешь со мной, все остальное не имеет значения... Просто я разнервничался и наговорил грубостей. Все это из-за работы и нашей бедности. Любимая, мы должны держаться друг друга. Весь день сегодня... Это было ужасно... — Он замолчал. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу.

— Я люблю тебя, — сказала она, обнимая его. — Я так люблю тебя!

Он притянул ее к себе и поцеловал в шею. Она прижалась к нему. Их губы встретились.

Догоравшая свеча вспыхнула ярким пламенем, задрожала и разом погасла. Воздух был насыщен сладким ароматом роз.

## 30. Уход

В пятницу Люишем вернулся от Вигорса в пять — в половине седьмого ему предстоял урок естествознания в Уолэм-Грин — и застал миссис Чеффери и Этель в слезах. Он измучился, ему страшно хотелось чаю, но новость, которой пни его встретили, вынудила его позабыть о чае.

— Он уехал, — объявила Этель.

— Кто уехал? Что? Неужели Чеффери?

Миссис Чеффери, зорко следившая за тем, как воспримет Люишем это известие, кивнула, вытирая слезы выдавшим виды носовым платком.

Наконец-то сообразив, что произошло, Люишем едва удержался от громкого проклятия. Этель протянула ему письмо.

Минуту Люишем, не раскрывая, держал его в руках и задавал вопросы. Миссис Чеффери нашла письмо в футляре часов, которые заводятся раз в восемь дней, когда настало время их заводить. Чеффери, оказывается, ушел из дому еще в субботу вечером. Письмо было не запечатано и адресовано Люишему — длинное, бессвязное, полное поучений письмо, и написано оно было до странности плохо в сравнении с речами Чеффери. Оно было помечено несколькими часами раньше, чем его последний визит к Люишемам; значит, тогдашняя беседа была своего рода дополнением к завещанию.

«Беспримерная глупость этого субъекта Лэгьюна гонит меня из Англии, — прочел Люишем. — Я наконец-то об нее споткнулся, боюсь, на сей раз даже в глазах закона. И посему я уезжаю. Удираю. Рву все узы. Мне будет недоставать наших долгих, освежающих бесед — вы вывели меня на чистую воду, поэтому с вами я мог быть откровенен. Мне жаль расстаться и с Этель, но, слава богу, о ней есть кому заботиться! Вы, разумеется, позаботитесь о них обеих, хотя на „обеих“ вы, вероятно, никак не рассчитывали».

Зарывав от злости, Люишем перелистнул с первой страницы сразу на третью, чувствуя, что обе женщины не спускают с него глаз, теперь особенно внимательных. Здесь Чеффери уже перешел к практическим соображениям:

«В нашем доме в Клэпхеме остались два-три предмета из той части движимого имущества, которая не пострадала от моей прискорбной расточительности. Это окованный железом сундук, конторка со сломанной петлей и большой насос. Их, несомненно, можно заложить, если только вы

ухитритесь дотащить их до ломбарда. У вас больше силы воли, чем у меня — я так и не собрался даже стащить эти проклятые вещи с лестницы. Окованный железом сундук принадлежал мне до женитьбы на вашей теще, так что меня нельзя упрекнуть в полнейшем безразличии к вашему благосостоянию и в нежелании чем-нибудь отблагодарить вас. Не судите меня слишком строго».

Не дочитав страницу до конца, Люишем сердито перевернул ее.

«Жизнь в Клэпхеме, — было писано далее, — последнее время стала меня раздражать, и, сказать по правде, при виде вашего молодого, бодрого счастья — вы ведь и сами не знаете, сражаясь с миром, как вам хорошо, — я вспоминал, что годы проходят. Дабы быть до конца искренним в своей исповеди, признаюсь, что нечто большее, чем просто новая женщина, вошло в мою судьбу, и я чувствую, что должен еще пожить в свое удовольствие. Какая чудесная фраза — „пожить в свое удовольствие“! От нее веет честным презрением к условностям. Это вам не *Imitatio Christi*<sup>[27]</sup>. Я жажду видеть новых людей, новые города... Я знаю: я поздно начинаю жить в свое удовольствие, я уже плешив, а в бороде у меня седина; но лучше поздно, чем никогда. Почему только образованным девицам должны принадлежать все эти удовольствия? А бороду, между прочим, можно и покрасить...

Вскоре — я коснусь этого лишь мимоходом — Лэгьюн узнает кое-что такое, что поразит его до глубины души».

Тут Люишем стал читать более внимательно.

«Удивляюсь этому человеку: он жадно ищет чудес, в то время как вокруг него происходит самое невероятное. Что может представлять собой человек, который бежит за медиумами и чудесами, тогда как к его услугам чудо его собственного существования, нелогичного, бессмысленного, в высшей степени странного и, однако, присущего ему, как дыхание, неотторжимого, как руки и ноги? Что он-то сам такое, чтобы заниматься чудесами? Меня поражает, как это столь ощутимые спиритические явления не обратились до сих пор против своих исследователей и как это Общество Исследователей Выдающихся Иллюзий и Галлюцинаций не направило на Лэгьюна критического ока. Взгляните хотя бы на его дом — да этого мнимого жителя Челси ничего не стоит разоблачить. А priori<sup>[28]</sup> можно утверждать, что существо столь глупое, столь бессмысленное, столь болтливое может быть только бредом какого-то истерического фантома. Вы верите, что такой субъект, как Лэгьюн, существует? Признаюсь, у меня на этот счет имеются серьезные сомнения. К счастью, его банкир — человек

более доверчивый, чем я... Но об этом Лэггюн вскорости сам известит вас».

Дальше Люишем читать не стал.

— Наверное, писал и любовался своим остроумием, — в сердцах сказал Люишем, швырнув листки на стол. — А в действительности он просто совершил не то кражу, не то подлог — и удрал.

Наступило молчание.

— Что же будет с мамой? — спросила Этель.

Люишем посмотрел на «маму» и на минутку призадумался. Затем он взглянул на Этель.

— Все мы связаны одной веревочкой, — сказал Люишем.

— Я не хочу никому быть в тягость, — заявила миссис Чевфери.

— Я думаю, Этель, ты могла бы, во всяком случае, напоить мужа чаем, — сказал Люишем, вдруг садясь на стул. Он забарабанил по столу пальцами. — Без четверти семь мне нужно быть в Уолэм-Грин.

— Все мы связаны одной веревочкой, — спустя минуту снова повторил он, продолжая барабанить по столу.

Открытие это, что все они связаны одной веревочкой, самого его поразило. Необыкновенные у него способности взваливать на себя заботы. Подняв взгляд, он вдруг увидел, что полные слез глаза миссис Чевфери обращены к Этель с горестным вопросом. Его беспокойство сразу сменилось жалостью.

— Ничего, мама, — сказал он. — Я понимаю. Я вас не покину.

— Ах! — воскликнула миссис Чевфери. — Я так и знала!

А Этель подошла и поцеловала его.

Ему грозили объятия с обеих сторон.

— Лучше дайте мне выпить чаю, — сказал он.

И пока он пил чай, он задавал миссис Чевфери вопросы, стараясь освоиться с новым положением вещей.

Но даже в десять часов, когда он, усталый и разгоряченный, возвращался из Уолэм-Грин, ему еще не удалось до конца освоиться с новым положением вещей. Во всей этой истории было немало неясностей и вопросов, которые весьма озадачивали его.

Он знал, что ужин будет только прелюдией к нескончаемому «выяснению отношений», и действительно, лечь спать ему удалось лишь около двух. К этому времени был разработан определенный план действий. Миссис Чевфери была привязана к своему дому в Клэпхеме долгосрочной арендой, и поэтому им предстояло перебраться туда. Первый и второй этажи сдавались внаем без мебели, и доходы с них практически покрывали

арендную плату. Чеффери занимали подвальный и третий этажи. На третьем этаже была одна спальня, которую прежде сдавали жильцам второго этажа. Теперь же они с Этель могли занять ее. Старый туалетный стол он мог бы использовать для работы дома. Этель свою машинку поставит в столовой, расположенной в подвальном этаже. Миссис Чеффери и Этель будут готовить и выполнять основную работу по дому, и нужно будет как можно скорее освободиться от арендного контракта и подыскать дом поменьше где-нибудь в пригороде, поскольку сдача комнат жильцам не сообразуется с профессиональной гордостью Люишема. Если они сумеют это сделать и съедут с квартиры, не оставив адреса, то тем самым избавятся от переживаний, которые их ждут в случае возвращения блудного Чеффери.

Миссис Чеффери без конца слезно восторгалась благородством Люишема, но это только отчасти рассеивало его горестное уmonoстроение. И во время деловых разговоров они то и дело возвращались к Чеффери: что же все-таки он натворил, и куда скрылся, и не может ли, не дай бог, еще вернуться?

Когда наконец миссис Чеффери со слезами, с поцелуями и с благословениями — она называла их «добрыми, милыми деточками» — удалилась, мистер и миссис Люишем вернулись в гостиную. На лице миссис Люишем был написан искренний восторг.

— Ты молодец! — оказала она и в награду крепко обняла его. — Я знаю, знаю, нынче я весь вечер была в тебя влюблена. Милый! Милый! Милый...

На следующий день Люишем был слишком занят, чтобы повидаться с Лэгьюном, но на третий день утром он зашел к нему и застал исследователя спиритических явлений за чтением гранок «Геспера». Лэгьюн принял молодого человека очень приветливо, вообразив, что Люишем пришел довести до конца их старый спор, — о женитьбе Люишема ему, очевидно, ничего не было известно. Люишем сразу, без обиняков изложил цель своего прихода.

— В последний раз он был здесь в субботу, — удивился Лэгьюн. — У вас всегда была склонность относиться к нему с подозрением. Для этого есть основания?

— Лучше прочтите-ка это, — подавляя мрачную усмешку, ответил Люишем и подал Лэгьюну письмо Чеффери.

Люишем иногда поглядывал, не дочитал ли еще Лэгьюн до того места, где Чеффери переходит на личности, а в остальное время с завистью озираал роскошный его кабинет. У того лопухого юноши тоже, наверное, такой...



Когда Лэгьюн дошел наконец до того места, где подвергалась сомнению сама его персона, он только как-то странно надул щеки.

— Боже мой! — наконец изрек он. — Мой банкир! — Он поднял на Люишема кроткий взгляд вооруженных очками глаз. — Как вы думаете, что это значит? — спросил он. — Может быть, он сошел с ума? Мы ставили опыты, требующие исключительного умственного напряжения. Мы с ним и еще одна дама. Гипнотические...

— На вашем месте я бы проверил чековую книжку.

Лэгьюн достал ключи, вынул из ящичка чековую книжку и перелистал ее.

— Все в порядке, — сказал он и протянул книжку Люишему.

— Хм, — пробормотал Люишем. — Надеюсь, это... Послушайте, а вот это так и должно быть?

Он передал книжку Лэгьюну, держа ее раскрытой на незаполненном корешке, чек которого был оторван. Лэгьюн растерянно провел рукой по лбу.

— Я ничего не вижу, — ответил он.

Люишему не приходилось слышать о постгипнотическом воздействии, и он недоверчиво уставился на Лэгьюна.

— Ничего не видите? — переспросил он. — Что за чепуха!

— Ничего не вижу, — повторил Лэгьюн.

Люишем готов был еще и еще раз бессмысленно повторять свой вопрос. Но в конце концов его осенило, и он обратился к косвенному доказательству:

— Послушайте! А этот корешок вы видите?

— Совершенно отчетливо, — ответил Лэгьюн.

— Номер вы можете прочесть?

— Пять тысяч двести семьдесят девять.

— Правильно. А этот?

— Пять тысяч двести восемьдесят один.

— Правильно. А где же пять тысяч двести восемьдесят?

Лэгьюну, видимо, стало слегка не по себе.

— Но ведь, — сказал он, — не мог же он... Прочтите мне, какая сумма стоит на чеке, то есть на корешке, которого я не вижу.

— Она не проставлена, — ответил Люишем, не в силах сдержать усмешки.

— Так, так, — сказал Лэгьюн, и испуг на его лице стал еще очевиднее. — Вы не возражаете, если я позову служанку подтвердить...

Люишем не возражал, и в кабинет вошла та самая девушка, которая

когда-то отворила ему дверь, когда он пришел на спиритический сеанс. Подтвердив, что чек действительно вырван, она направилась к выходу. У двери она остановилась, и за спиной у Лэгьюна ее глаза встретились с глазами Люишема. Она приподняла брови, поджала губы и многозначительно взглянула на Лэгьюна.

— Боюсь, — сказал Лэгьюн, — со мной поступили крайне бесчестно. Мистер Чеффери — человек, бесспорно, способный, но боюсь, очень боюсь, что он злоупотребил условиями опыта. Все это... его оскорбления... меня весьма задевает.

Он замолчал. Люишем встал.

— Не смогли бы вы еще раз навестить меня? — с кроткой учтивостью спросил Лэгьюн.

Люишем с удивлением убедился, что ему жаль Лэгьюна.

— Это был человек незаурядных способностей, — продолжал Лэгьюн. — Я так привык полагаться на него... В последнее время у меня в банке собралась довольно крупная сумма денег. Но как он узнал об этом, ума не приложу. Иначе, как его необыкновенными способностями, это объяснить нельзя.

Придя к Лэгьюну в следующий раз, Люишем узнал от него подробности, и, между прочим, оказалось, что «дама» тоже исчезла.

— Вот это хорошо, — эгоистически заметил он. — По крайней мере, нам не угрожает его возвращение.

Он попробовал представить себе эту «даму» и тут более отчетливо, чем прежде, понял, как скуден его опыт и бедно воображение. И эти люди, уже с седыми волосами, с подмоченной репутацией, тоже испытывают какие-то чувства! Даже страсти... Он вернулся к фактам. Чеффери получил от Лэгьюна, находившегося в гипнотическом состоянии, «автограф» на пустом бланке чека.

— Признаться, — объяснил Лэгьюн, — я не уверен даже, подсудное ли это дело. В законах ничего не говорится о гипнозе, а ведь чек-то подписал я сам.

Несмотря на потери, маленький человек был почти доволен одной любопытной, по его мнению, деталью.

— Можете назвать это совпадением, — сказал он, — счастливой случайностью, но я предпочитаю искать Другое объяснение. Подумайте только. Общая сумма на моем счете известна только моему банкиру да мне. От меня он вывести ее не мог, ибо я сам ее не помню: я уже давным-давно не заглядывал в свою сберегательную книжку. Он же снял со счета одним чеком все деньги, оставив каких-нибудь семнадцать шиллингов шесть

пенсов. А ведь там было больше пятисот фунтов.

И с прежним торжеством заключил:

— Видите, не совпало всего на семнадцать шиллингов шесть пенсов. Как вы это объясните, а? Ну-ка, дайте мне материалистическое истолкование. Не можете? Я тоже не могу.

— Я, наверное, смогу, — сказал Люишем.

— Какое же?

Люишем кивнул на конторку Лэгьюна.

— Не думаете ли вы, — ему стало смешно, но он сдержался, — что он подобрал ключ?

По дороге домой в Клэпхем Люишем все время со смехом вспоминал, какое Лэгьюн сделал при этом лицо. Но потом это перестало казаться ему забавным. Ему вдруг припомнилось, что Чевфери — его тесть, а миссис Чевфери — теща, и что они вместе с Этель составляют его семью, его род, и что этот мрачный, неуклюжий дом на склоне холма в Клэпхеме должен стать его домом. Домом!.. Его связь со всем этим, как связь с целым миром, была теперь такой нерасторжимой, словно он для этого и был рожден. А еще год назад, если не считать полустершегося воспоминания об Этель, никто из этих людей для него и не существовал. Поистине неисповедимы пути судьбы! События последних нескольких месяцев пронесли в его памяти молниеносно, как пантомима. Кажется, тут было над чем посмеяться. И Люишем рассмеялся.

Этот смех отмечал новую полосу в его жизни. Прежде Люишем никогда не смеялся над собственными неурядицами. Теперь пришел конец серьезности, с какой смотрит на вещи юность. Он вырос. То был смех безграничного восприятия.

## 31. В парке Баттерси

Хотя Люишем и пообещал прекратить дружбу с мисс Хейдингер, в течение ближайших пяти недель он не предпринимал никаких действий, а злополучное письмо ее оставалось без ответа. За это время состоялся — не без двуязычных нареканий — их переезд от мадам Гэдоу в мрачный клапхемский дом, где молодая пара разместилась, как и предполагалось, в маленькой комнатке на третьем этаже. И здесь весь мир вдруг неузнаваемо, до странности изменился, и причиной этому оказались несколько сказанных шепотом слов.

Слова эти прозвучали среди всхлипываний и слез, когда руки Этель обвивали его шею, а ее распущенные волосы Прятали от него ее лицо. И он ответил тоже шепотом, немного, быть может, растерянно, и в то же время испытывая странную гордость, совсем непохожую на то, что он ожидал испытать, когда со страхом прежде думал, что рано или поздно это должно случиться. Внезапно он осознал, что все решено, что разрешен наконец конфликт, который так долго их тяготил. Колебаний как не бывало. Теперь предстояло действовать.

На следующий день он написал записку, а два дня спустя утром ушел на свои репетиторские занятия по математике часом раньше, и вместо того, чтобы пойти прямо к Вигорсу, направился через мост в парк Баттерси. Там около скамьи, где они когда-то встречались, нетерпеливо прохаживалась мисс Хейдингер. Они немного походили взад и вперед, разговаривая о том о сем, а затем наступило молчание...

— Вы хотите мне что-то сказать? — вдруг спросила мисс Хейдингер.

Люишем чуть побледнел.

— Да, — ответил он. — Дело в том... — Он старался держаться непринужденно. — Я когда-нибудь говорил вам, что женат?

— Женаты?

— Да.

— Вы женаты?!

— Да, — чуть раздраженно повторил он.

Мгновение оба молчали. Люишем довольно малодушно разглядывал георгины, а мисс Хейдингер смотрела на него.

— Это вы и хотели мне сказать?

Мистер Люишем повернулся и встретил ее взгляд.

— Да, — ответил он. — Именно это я и хотел вам сказать.

Молчание.

— Вы не возражаете, если я присяду? — ровным голосом спросила мисс Хейдингер.

— Вон там под деревом есть скамья, — сказал Люишем.

Они молча дошли до скамьи.

— А теперь, — спокойно заговорила мисс Хейдингер, — расскажите мне, на ком вы женаты.

Люишем ответил в общих словах. Она задала ему еще один вопрос, потом другой. Он чувствовал себя ужасно неловко и отвечал запинаясь, но чистосердечно.

— Мне следовало бы догадаться, — сказала она. — Мне следовало бы догадаться. Но я не хотела знать. Расскажите мне еще что-нибудь. Расскажите мне о ней.

Люишем рассказал. Разговор этот был ему страшно неприятен, но уйти от него он не мог: ведь он обещал Этель. Наконец мисс Хейдингер получила полное представление о его судьбе, почти полное, так как в его рассказе отсутствовали эмоции, которые делали его достоверным.

— Вы женились перед вторым экзаменом? — спросила она.

— Да, — ответил Люишем.

— Но почему вы не рассказали мне об этом раньше? — спросила мисс Хейдингер.

— Не знаю, — признался Люишем. — Я хотел... в тот день, в Кенсингтон-гарденс. Но как-то не смог. Наверное, мне следовало рассказать.

— Наверное, следовало.

— Да, по-видимому, следовало... А я не рассказал. Как-то... трудно было... Я не знал, как вы к этому отнесетесь. Ведь все произошло так поспешно.

Не находя слов, он умолк.

— Мне кажется, вы все-таки обязаны были мне сказать, — повторила мисс Хейдингер, рассматривая его профиль.

Люишем приступил ко второй и более сложной части своего объяснения.

— Произошло недоразумение, — сказал он, — собственно, оно было все время... Из-за вас, хочу я сказать. Немного трудно... Дело в том, что... моя жена... знаете ли... Она смотрит на вещи несколько иначе, нежели мы.

— Мы?

— Да. Это, конечно, странно... Но она видела ваши письма...

— Вы ей их показывали?

— Нет. Просто она знает о нашей переписке, знает, что вы пишете мне о социализме, о литературе и... о том, что нас интересует, а ее нет.

— Вы хотите сказать, что такие вещи недоступны ее пониманию?

— Она об этом никогда не задумывалась. Мне кажется, разница в образовании...

— И она возражает?

— Нет, — не задумываясь, солгал Люишем. — Она не возражает.

— Так в чем же дело? — спросила мисс Хейдингер, и ее лицо совсем побелело.

— Она чувствует, что... она чувствует... Она не говорит, конечно, но я вижу, она чувствует, что ей тоже следует в этом принять участие. Я знаю... как она любит меня. И ей стыдно... Это напоминает ей... Разве вы не понимаете, что ей обидно?

— Да, понимаю. Итак, даже это малое...

У мисс Хейдингер, казалось, перехватило дыхание, потому что она вдруг замолчала.

Наконец она с усилием заговорила.

— А что это обидит меня... — начала она, но лицо ее искривила гримаса, и она снова умолкла.

— Нет, не в этом дело. — Люишем был в нерешительности. — Я знал, что это обидит вас.

— Вы ее любите. Вы можете пожертвовать...

— Нет, не в этом дело. Но есть разница. Если ее обидеть, она не поймет. А вы... Мне казалось вполне естественным прийти к вам. Я смотрю на вас, как на... А для нее мне всегда приходится делать снисхождение...

— Вы ее любите.

— Не знаю, в этом ли дело. Все так сложно. Любовь означает все... или ничего. Я знаю вас лучше, чем ее, вы знаете меня лучше, чем она будет когда-либо знать. Я могу рассказать вам то, чего никогда не расскажу ей. Я могу раскрыть перед вами душу... почти... и знаю, что вы поймете... Только...

— Вы ее любите.

— Да, — признался Люишем, дергая себя за ус. — Дело, должно быть, в этом...

Некоторое время оба молчали; затем мисс Хейдингер заговорила с непривычной для нее горячностью:

— О! Подумать только, что это конец всему! А ведь столько надежд... Что дает она вам такого, чего не сумела бы дать я? Даже сейчас! Почему я

должна отказаться от того немногого, что принадлежит мне? Если бы она смогла забрать и это... Но она не может. Если я отпущу вас, вы ничего не будете делать. Все наши мечты, все устремления — все зачахнет и погибнет, а ей это безразлично. Она не поймет. Она будет думать, что вы все тот же. Почему она домогается того, чем не в силах владеть? Взять то, что принадлежит мне, и отдать ей для того, чтобы она выбросила?

Она смотрела не на Люишема, а прямо перед собой, и лицо ее было само страдание.

— Я в известном смысле уже привыкла... думать о вас как о чем-то мне принадлежащем... Я и сейчас так думаю.

— В последнее время, — начал Люишем после молчания, — мне два раза приходила в голову одна мысль. Не кажется ли вам, что вы несколько переоцениваете мои способности? Я знаю, мы говорили о великих делах. Но вот уже полгода с лишком я бьюсь, чтобы просто заработать на жизнь, сколько может чуть ли не каждый. На это у меня уходит все время. Тут, пожалуй, задумаешься: может быть, жизнь не такая простая вещь...

— Нет, — решительно возразила она, — вы могли бы совершить великие дела! Даже сейчас, — продолжала она, — вы еще способны сделать многое... Если бы только я могла видеть вас время от времени, писать вам... У вас такие способности и... такой слабый характер. Вам обязательно нужен кто-нибудь... В этом ваша слабость. Вы сами в себя не верите. Вам нужно, чтобы кто-нибудь поддерживал вас и верил в вас, безгранично поддерживал и верил. Почему я не могу дать вам это? Больше мне ничего не нужно. По крайней мере сейчас. Зачем ей знать? Она от этого ничего не теряет. Я ничего не прошу из того, чем владеет она. Но я знаю, что одна, своими силами ничего не добьюсь. Я знаю, что вместе с вами... Ей ведь обидно только оттого, что она знает. А зачем ей знать?

Мистер Люишем в нерешительности посмотрел на нее. Его воображаемое величие вдохновляло ее взгляд. В этот миг по крайней мере и он свято верил в свои возможности. Но он понимал, что его величие и ее восхищение связаны между собой, что они составляют одно нераздельное целое. Зачем вправду Этель знать об этом? Он представил себе все, что может совершить, чего может добиться, но тут же пришла мысль о сложностях, неловкости, об опасности разоблачения.

— Дело в том, что я не имею права усложнять свою жизнь. Я ничего не добьюсь, если буду ее усложнять. Только люди со средствами могут позволить себе сложности. Тут надо выбирать либо одно, либо другое...

Он умолк, внезапно представив себе Этель, как в прошлый раз, со слезами на глазах.

— Нет, — чуть ли не грубо заключил он. — Нет. Я не хочу действовать за ее спиной. Я не говорю, что я теперь такой уж кристально честный. Но я не умею лгать. Она тотчас же все поймет. Она тотчас все поймет, и ничего хорошего из этого не получится. Моя жизнь и так слишком сложна. Я не могу с этим справиться и двигаться дальше. Я... Вы переоцениваете меня. И, кроме того... Есть одно обстоятельство... Одно... — Он запнулся и возвратился к тому, с чего начал. — Нет, я не имею права усложнять свою жизнь. Очень жаль, но это так.

Мисс Хейдингер ничего не ответила. Ее молчание удивило его. Секунд двадцать они сидели молча. Потом она вдруг встала, тотчас вскочил и он. Ее лицо горело, глаза были опущены.

— Прощайте, — чуть не шепотом сказала она и протянула ему руку.

— Но... — начал было Люишем и замолчал. Мисс Хейдингер была бледна, как мел.

— Прощайте, — с кривой улыбкой повторила она, внезапно глянув ему в глаза. — Больше говорить не о чем, не так ли? Прощайте.

Он взял ее руку.

— Надеюсь, я не...

— Прощайте, — нетерпеливо сказала она, выдернула у него руку и пошла прочь. Он шагнул было за ней.

— Мисс Хейдингер, — позвал он ее, но она не остановилась. — Мисс Хейдингер...

Он понял, что она не хочет откликнуться...

Он стоял неподвижно, глядя, как она уходит. Непривычное чувство утраты овладело им, ему захотелось догнать ее, в чем-то убедить...

Она ни разу не обернулась и была уже далеко, когда он пустился ее догонять. Сделав шаг, он пошел все быстрее, быстрее, вот он уже почти нагнал ее, оставалось всего шагов тридцать. Но в это время она подошла к воротам.

Шаги его замедлились. Он вдруг испугался, что она обернется. Она прошла в ворота и скрылась из виду. Он стоял, глядя ей вслед, потом вздохнул и свернул налево, на ту аллею, что вела к мосту и Вигорсу.

На середине моста им вновь овладела нерешительность. Он остановился. Назойливая мысль не исчезала. Он взглянул на часы: надо было спешить, если он хочет успеть на поезд и попасть в Эрлс-Корт к Вигорсу. Пусть Вигорс идет ко всем чертям, сказал он себе.

Но в конце концов он все же успел на поезд.



## 32. Окончательная победа

В тот же вечер часов около семи Этель вошла в комнату с корзиной для бумаг, которую она купила ему, и застала его за маленьким туалетным столиком, тем самым, что должен был служить письменным столом. Из окна открывался непривычно широкий для Лондона вид: длинный ряд покатых крыш, спускающихся к вокзалу, просторное голубое небо, уходящее вверх, к уже темнеющему зениту, и вниз, к таинственному туману крыш, щетинившихся дымовыми трубами, сквозь который там и тут проступали то сигнальные огни и клубы пара, то движущаяся цепочка освещенных окон поезда, то еле различимая перспектива улиц. Похваставшись корзиной, Этель поставила ее у его ног, и в этот момент взгляд ее упал на желтый лист бумаги, который он держал в руках.

— Что это у тебя?

Он протянул ей листок.

— Я нашел его на дне моего желтого ящика. Это еще из Хортли.

Она взяла листок и увидела изложенную в хронологическом порядке жизненную программу. На полях были какие-то пометки, а все даты наскоро переправлены.

— Совсем пожелтел, — заметила Этель.

Люишем подумал, что от этого замечания ей, пожалуй, следовало бы воздержаться. Он смотрел на свою «Программу», и ему почему-то стало грустно. Оба молчали. И вдруг он почувствовал ее руку на своем плече, увидел, что она склоняется над ним.

— Милый, — прошептала она странно изменившимся голосом.

Он понял, что она хочет что-то сказать, но не может подыскать слов.

— Что? — наконец спросил он.

— Ты не огорчаешься?

— Из-за чего?

— Из-за этого.

— Нет!

— Тебе даже... Тебе даже ничуть не жалко? — спросила она.

— Нет, ничуть.

— Я не могу понять. Так много...

— Я рад, — заявил он. — Рад.

— Но заботы... расходы... и твоя работа?

— Именно поэтому, — сказал он, — я и рад.

Она недоверчиво посмотрела на него. Он поднял глаза и прочел сомнение на ее лице. Он обнял ее, и она тотчас же, почти рассеянно повинуясь обнимающей ее руке, наклонилась и поцеловала его.

— Этим все решено, — сказал он, не отпуская ее. — Это соединяет нас. Неужели ты не понимаешь? Раньше... Теперь все по-другому. Это — наше общее. Это... Это — связующее звено, которого нам не доставало. Оно свяжет нас воедино, соединит навсегда. Это будет наша жизнь. Ради чего я буду работать. Все остальное...

Он смело взглянул правде в глаза.

— Все остальное было... тщеславие!

На ее лице еще оставалась тень сомнения, тень печали.

— Милый, — наконец позвала она.

— Что?

Она сдвинула брови.

— Нет! — сказала она. — Я не могу этого сказать.

Опять наступило молчание, во время которого Этель очутилась на коленях у Люишема.

Он поцеловал ее руку, но ее лицо по-прежнему было серьезным. Она смотрела в окно на сгущающиеся сумерки.

— Я глупая, я это знаю, — сказала она. — Я говорю... совсем не то, что чувствую.

Он ждал, что она скажет дальше.

— Нет, не могу, — вздохнула она.

Он чувствовал, что обязан помочь ей. Ему тоже нелегко было найти слова.

— Мне кажется, я понимаю, — сказал он, стараясь ощутить неуловимое.

Снова молчание, долгое, но исполненное смысла. Внезапно она вернулась к жизненной прозе и встала.

— Если я не сойду вниз, маме придется самой накрывать к ужину.

У двери она остановилась и еще раз взглянула на него. Мгновение они смотрели друг на друга. В сумерках ей был виден лишь смутный его силуэт. Люишем вдруг протянул к ней руки...

Внизу раздались шаги. Этель освободилась из его объятий и выбежала из комнаты. Он услышал, как она крикнула:

— Мама! Я сама накрою к ужину. А ты отдыхай.

Он прислушивался к ее шагам, пока они не стихли за кухонной дверью. Тогда он снова посмотрел на свою «Программу», и на мгновение она показалась ему сущим пустяком.

Он держал ее в руках и разглядывал так, будто она была написана другим человеком. И в самом деле ее писал совсем другой человек.

— «Брошюры либерального направления», — прочел он и засмеялся.

Мысли унесли его далеко-далеко. Он откинулся на стуле. «Programma» в его руках была теперь просто символом, отправной точкой, и, глубоко задумавшись, он уставился в темнеющее окно. Так он сидел долго, и в голове у него сменялись мысли, которые были почти что чувства, чувства, принявшие форму и весомость идей. И, мелькая, они стали постепенно облекаться в слова.

— Да, это было тщеславие, — сказал он. — Мальчишеское тщеславие. Для меня, во всяком случае. Я слишком двойствен. Двойствен? Просто зауряден! «Мечты, подобные моим, способности, подобные моим». Да у любого человека. И все же... Какие у меня были замыслы!

Он вспомнил о социализме, о своем пламенном желании переделать мир. И подивился тому, сколько новых перспектив открылось ему с тех пор.

— Не для нас... Не для нас. Нам суждено погибнуть в неизвестности. В один прекрасный день... Когда-нибудь... Но это не для нас...

— В сущности, все это — ребенок. Будущее — это ребенок. Будущее! И все мы не более как верные слуги или, наоборот, предатели Будущего...

— Есть естественный отбор, и значит... Этот путь — счастье... Так должно быть. Другого нет.

Он вздохнул.

— То есть такого, чтобы хватило на всю жизнь.

— И все же жизнь сыграла со мной злую шутку: так много обещала и так мало дала!

— Нет! Так рассуждать нельзя. Из этого ничего не получится! Ничего не получится!

— Карьера. Это тоже карьера — самая важная карьера на свете. Отец! Что еще мне нужно?

— И... Этель! Нечего удивляться, что она казалась пустой... Она и была пустой. Нечего удивляться, что она была раздражительной. Она не выполняла своего назначения в жизни. Что ей оставалось делать? Она была служанкой, игрушкой...

— Да, вот это и есть жизнь. Только это и есть жизнь. Для этого мы сотворены и рождены. Все остальное — игра...

Игра!

Он снова посмотрел на свою «Программу». Потом обеими руками взялся за верх листка, но остановился в нерешительности. Видение стройной Карьеры, строгой последовательности трудов и успехов, отличий

и еще раз отличий вставало за этим символом. Но он сжал губы и медленно разорвал пожелтевший лист на две половинки. Затем сложил обе половинки вместе и снова их разорвал, снова сложил тщательно и аккуратно и снова разорвал, пока «Программа» не превратилась в кучу маленьких клочков. Ему казалось, что он разрывает на куски свое прошлое.

— Игра! — после долгого молчания прошептал он.

— Конец юности, — сказал он, — конец пустым мечтам...

Он не двигался, руки его покоились на столе, глаза смотрели на синий прямоугольник окна. Гаснущий свет собрался в одной точке: вспыхнув, зажглась звезда.

Он заметил, что все еще держит в руках клочки бумаги. Он вытянул руку и бросил их в ту самую новую корзинку, которую купила ему Этель.

Два клочка упали на пол. Он наклонился, подобрал их и осторожно положил вместе с остальными.

---

notes
-------

*Карлейль, Томас* (1795—1881) — английский писатель, историк и публицист.

*Эмерсон, Ральф Уолдо* (1803—1882) — американский писатель, философ и публицист.

*Конфуций Кун-цзы; 551—479 до н.э. — древнекитайский философ.*

4

сжигает меня Гликеры ослепительная краса (лат.)



Берегись, не то станешь игрушкой. — Гораций, I, «14 ветров» (*лат.*)

*Батлер, Джозеф* (1692—1752) — английский философ и теолог.

Философский роман Т.Карлейля (1833—1834).

среди прочего (*лат.*)

истина велика и восторжествует (*лат.*)

вдвоем (*франц.*)

*Спенсер, Герберт* (1820—1903) — английский ученый, философ, психолог и социолог, человек трезвого аналитического ума.

Арамейское слово, которое в библии расшифровывается так: «Да надзирает господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга».



Deo Volentum (*лат.*) — если бог захочет.

Книга американского писателя Генри Джорджа (1839—1897).

Официальный орган английской «Социалистической лиги», основанной в 1884 году.

социалист (*испорч. нем.*)

*Россетти, Данте Габриэль* (1828—1882) — английский поэт и художник, выразитель взглядов прерафаэлитов.

Утопический роман американского писателя Э.Беллами (1850—1898).

*Фокс, Гай* — один из участников Порохового заговора в Лондоне в 1605 году; день открытия Порохового заговора, 5 ноября, долго был в Англии народным праздником, во время которого сжигались чучела Гая Фокса.

полностью (*лат.*)



Картины художников-прерафаэлитов XIX века.

Произведение Д.Рескина (1819—1900).

*Мэтью, Арнольд* (1822—1888) — английский поэт, публицист и теоретик литературы.

преимущественно (*франц.*)

сокрытие истины (*лат.*)

*Маскилайн* — известный лондонский фокусник тех лет.

подражание Христу (*лат.*)

наперед, заранее (*лат.*)